

АЛФЕРЬЕВ

Милый друг!

Мы шли по одной дороге. Под Вами оборвалась крутизна; я продолжал идти, гордясь тем, что цел, отчасти стыдясь того, что цел, — не очень долго: и подо мною оборвалась крутизна. И вот мы оба лежим, разбитые. Это ничего, мы оба выздоровеем, опять пойдем своею дорогой, одной дорогой; опять я буду часто сердить Вас, Вы будете говорить мне: «надобно работать, работать!» Так; но пока мы лежим, мы не видимся. А мне хотелось бы, чтоб и это время разлуки не пропало даром для нашей дружбы. И вот мне вздумалось показать Вам, как я понимаю Вас, как я ценю Вас. Прочтите, — ведь скажете: «да, я представлен верно!» А если так, то, значит, моя повесть будет иметь успех. Да, не скрываю от Вас и этой другой своей цели, — расчета на успех. Что скрывать? Вы слишком хорошо знаете меня: дружба дружбой, нежность нежностью, а самолюбьишко и расчетец все-таки тут же, подле дружбы и нежности. Черты живого, очень выразительного лица, изображаемого с любовью не слепую, но горячею,—характерные для эпохи факты, рассказываемые во всей живой их определенности, должны дать моему очерку больше яркости, чем могло бы быть в бледных изобретениях моей слабой фантазии. Правда, я изменяю обстановку, насколько нужно, чтобы не затрагивать самолюбия одних, не оскорблять благородной скромности других лиц, группирующихся около Вас в моей повести, как в моей памяти. Но вся сущность дела сохранена без всякой перемены, и некоторые сцены я мог пересказывать почти слово в слово так, как они происходили. Это запас повествовательного материала, слишком соблазнительный для рассказчика с бедным воображением — и я польстился на этот запас. Он Ваш, а не мой; потому у другого человека надобно было бы мне спросить позволение пользоваться им, прежде чем запускать в него руку. Но Вы не такой человек; — вперед известно, что скажете: «если это полезно для других, то приятно мне»¹.

Дружней! Работа есть лопатам! и проч.
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь, и проч.
Ей пригодится камень каждый,
Который добываем мы.

(Песня Алферьева) Некрасов².

ГЛАВА ПЕРВАЯ

АЛФЕРЬЕВ, УСТРОИВ СВОЮ КАРЬЕРУ, ПРИОБРЕТАЕТ В КРУГУ ЗНАКОМЫХ ЗАСЛУЖЕННУЮ РЕПУТАЦИЮ

I

История начинается

Алферьев просидел у меня целый вечер. Мы провели время очень приятно, в разговоре о высоких предметах. Мы оба любим такие разговоры.

На другое утро я работал, то есть плодил слова на бумаге, — слова-то и не пустые, пожалуй, только плодил-то почти что попусту, но с усердием к пользе ближнего и своей. Служанка вошла и говорит: «Пожалуйте в залу, там вас спрашивают, — Алферьев».

Что такое? — подумал я. Вот уже полгода, мы очень хороши с Алферьевым, но не до такой нежной неразлучности. Вчера не предполагали видеться раньше, как недели через две. Значит, экстренное дело. Но какое ж может быть дело у него ко мне? — Все наши отношения с Алферьевым состоят в разговорах о высоких предметах; в них никогда не бывает экстренности. А, главное, что ж он остался в зале и прислал сказать о себе, а не вошел прямо, сам, в кабинет? — Странно.

Выхожу в зал. — Опершись рукой на стол у дивана, стоял незнакомый молодой человек, одетый изящно. Я плохой распознаватель уменья одеваться, но даже я с первого взгляда заметил тонкий вкус в его костюме «безукоризненно строгой простоты». (Я вычитал, что надо выражаться так.) И сам он показался мне человеком очень светского воспитания: так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг вперед ко мне, в ответ на мой поклон. А независимо от своей светскости, изящный посетитель был господин несколько среднего роста, сухощавый, довольно широкий в плечах и костлявый, с светлыми, почти белыми, но очень курчавыми волосами, с очень белым, даже бледноватым, но здоровым цветом лица, черты которого были угловаты, с серыми маленькими глазами узкого прореза, — скорее некрасив, чем недурен.

— Извините, — сказал я: — служанка назвала мне фамилию моего приятеля, г. Алферьева; слуги часто так перевирают, — прибавил я с развязною улыбкою, имевшею своим назначением прикрыть мой конфуз по поводу гнусного бумажного татарского халата, закапанного стеарином спереди и — вещь невероятная, но действительная, — даже сзади, и с этого сзади бывшего в плюшинском виде, выказывавшемся своими краями по бокам. — Покорно прошу, — дополнил я с свойственною мне любезностью.

— Служанка не переврала; моя фамилия действительно Алферьев, — сказал посетитель, садясь и подавая письмо.

Я взглянул на адрес, разрывая конверт: рука Панаева. «А!» — Развернул записку — так и есть: «не найдется ли у нас в журнале работа для г. Алферьева, который выходит в отставку, чтобы заняться литературою». — Умен, подумал я. Да и гантировка обещает хорошего работника. В перчатках будете писать, сударь? Иван Иванович человек деликатный, отделался от тебя препровождением ко мне; а мне препровождать вас уж некуда, кроме вашей квартиры. Не погневайтесь, сударь.

— Я посмотрю-с; поищу; быть может, найду что-нибудь для вас; но не рассчитывайте на это: скорее, нет. — Он хотел встать и раскланяться: но так как я большой искусник в разговорах, по части мастерства ввязываться, к собственному озлоблению, в беседы с посетителями, от которых желаю поскорее избавиться, то я уж и продолжал: — Вы не родственник Илье Никитичу Алферьеву, которого я ожидал найти вместо вас? — Договаривая эти слова, я, с обычною своею быстротою и основательностью соображения, уже глубоко обдумал нелепость их: если б был родственник, то натурально Илья Никитич и рекомендовал бы его, а не явился бы он вроде Мельхиседека, сам по себе, без рода и племени. Но, против моего ожидания, посетитель отвечал:

— Да, я ему родственник.

— И в хороших отношениях с ним?

— Да!

— Но ведь он знаком и с Панаевым и со всеми в «Современнике».

— Я знаю.

Что за диво! — Почему же вы не сказали ему, чтоб он познанил вас?

— Потому что я не хотел пользоваться рекомендациею.

— Его? Почему ж?

— Не его в частности, а вообще; — потому что не находил это удобным.

Я, наконец, вразумился и почувствовал к нему некоторое уважение, несмотря на его изящество. Не хочет, видите ли вы, пользоваться рекомендациею. Смешно; но почему не сказать и «честно». Он заслуживает, чтобы посоветовать ему не делать глупо-

пости. — Вы хотите выйти в отставку, чтобы заняться литературою. Занятие хорошее, если у вас есть беллетристический талант. Но нельзя же целый день писать повести, — это не обыденное занятие, на целый день, и не мешает обыденной работе. Быть беллетристом — очень можно и оставаясь на службе. А, кроме повестей, ничто не требуется и ничто не выгодно. Собственно журнальная работа — черная работа, которая обременительнее службы; славы она вовсе не дает, денег дает мало.

— Я это знаю. Писать повестей не буду. Ищу черной журнальной работы, — не потому, что она завидна, а потому, что она нужна мне. Я не для того выхожу из службы, чтобы быть литератором; я желаю найти работу в журнале, потому что выхожу в отставку.

— Значит, у вас нет независимых средств для жизни?

— Нет.

— Это другое дело. Если у вас есть качества, нужные для журнальной работы, вы, вероятно, найдете ее; не у нас, — у нас все занято, — но где-нибудь в другом журнале. Но, само собою, вы должны в это время оставаться на службе, чтобы не остаться не при чем. Ведь, может быть, вы и не годитесь для журнальной работы. А если и годитесь, это устраивается не так скоро. И тут, как на службе, приходится ждать вакансий. Итак, ищите, испытывайте себя и ждите, оставаясь на службе.

— Я не могу этого сделать. Не дальше, как через неделю, я должен подать в отставку.

— Это жаль. Что ж, у вас вышли столкновения по службе?

— Нет. Но я должен выйти в отставку потому, что служба портит.

Я не выдержал и засмеялся. Служба портит! Это любопытно.

— Где ж вы нашли такую службу? В откупах?

— Нет, — отвечал он, спокойно улыбнувшись: — в министерстве **, — он назвал министерство.

— Интересно. Я знаком со многими, служащими в этом министерстве; признаюсь вам, не замечал ни на ком порчи от службы в нем. Одно из самых чистых министерств, помиуйте.

— Я не говорил, что портит служба именно в этом или каком-нибудь другом министерстве, я говорил, что портит служба вообще. Пример вы могли бы видеть на Илье Никитиче.

— На Илье Никитиче?! — сказал я с удивлением: — Илья Никитич испорченный человек? Помиуйте! Он превосходный человек, — честнейший гражданин; таких людей мало, не то, что у нас, и там, где люди получше, чем у нас, таких людей мало.

— Да. Я не говорил противного. Но ему 28 лет; он статский советник; он свыкся с мыслью о карьере. Он получает 3 000 р. жалованья; он уж приобрел привычку иметь тонкое белье и обе-

дать в хорошем ресторане, платя за обед полтора рубля, и иметь к столу полбутылки сотерна. Он уж не может считаться неиспорченным человеком, потому что ему тяжело отказаться от всего этого. Если бы понадобилось менять дорогу — ему уж поздно: он уже привык дорожить тем, от чего потребовалось бы отказаться. Он человек связанный. Через три года, когда мне будет 26 лет, со мною будет то же. Я этого не хочу. Я хочу остаться человеком свободным.

— Илья Никитич человек связанный и испорченный, потому что он привык иметь хорошее белье? — повторил я, смотря на своего посетителя с его изящным туалетом.

— Вы хотите сказать, что я одет лучше, чем он? — Да. Это моя потребность. Но теперь я еще могу отказаться от нее. Теперь я еще могу жить на 25 р., на 15 р. в месяц. Через три года будет поздно.

Следовательно, он может рассчитывать на хорошую карьеру, подобно Илье Никитичу, если ему через три года будет поздно?

— Мне кажется, — сказал я, — можно и не приобретать дурной привычки обедать в хорошем, а не в скверном ресторане, если уж это так вредно, — и можно носить самое дурное белье, если это необходимо для неиспорченности. Получайте хорошее жалованье — и все-таки можете жить нищим, если вам это нравится.

В переводе на серьезный язык, вы хотите сказать, что, имея характер, можно и не портиться. Это так. Но кто может поручиться за себя? Честность требует не подвергать себя опасностям изменить себе.

— Извините меня, но вы представляетесь мне человеком экзальтированным.

— Что я представляюсь вам человеком экзальтированным, это, конечно, так, если вы говорите. Но себе я не представляюсь таким человеком. Как видите, я флегматик. Я сужу холодно.

— Хорошо. Вы говорите, что испортитесь через три года. Я рекомендую вам оставаться на службе вовсе не так долго, — несколько месяцев («в течение которых эта дурь пройдет у тебя, мой милый»), — в течение которых вы еще не испортитесь, а избежите риска. Служите, пока найдете работу и испытаете себя на ней.

— Это было бы лучше, правда. Но есть особенная причина, по которой я не могу этого сделать. Я чиновник особых поручений при министре. До сих пор мне давали мелкие дела. Теперь мне хотят поручить историческо-статистическую работу, — он назвал работу, — вы видите, что она займет много времени, — год, если не больше, — что она важна и интересна. Вы согласны?

— Совершенная правда. Но что ж из этого?

— Взявшись за нее, я заинтересуюсь ею. Кроме того, было

бы бесчестно бросить дело, за которое взялся. Вы видите, я буду надолго привязан. А в это время из этой самой работы возникнут другие такие же. Отказаться от нее, оставаясь на службе, я не могу, потому что это бесчестно. Итак, я должен выйти в отставку теперь же, или связываю себя навсегда, — становлюсь тем, чем стал Илья Никитич.

Илья Никитич! Это было до крайности забавно. Нашел пример нравственного падения. Человек живет очень скромно (я знаю, сколько расходов на других он должен делать из своего жалования). Почти не курит сигар, которые очень любит. Все наделал этот несчастный обед, единственная роскошь, которую он себе позволяет. Вот ты, братец, точно субъект, а не Илья Никитич. Бежит из службы оттого, что нашли его дельным человеком и дают ему работу, которая выдвинет его вперед, обеспечит его служебный успех. — Но у меня мелькнула другая мысль о субъекте, сидевшем подле меня. Ему хотят поручить работу, предполагающую большие сведения. Ясно, что служба противна его убеждениям, кроме того, что хочет испортить его хорошим жалованием и карьерою. Но вот куда нельзя ли отвернуть его от литературы! — (У многих журналистов есть — и у меня была манера отклонять от литературы всякого порядочного человека; вероятно, по нежеланию делиться с другими приятностями этого дела.)³ — Позвольте спросить, где вы кончили курс?

— В здешнем университете.

— Кандидатом?

— Да.

— Держите экзамен на магистра.

— Я сделал это.

— Чего ж вам лучше? — Ищите места профессора. Кафедра и вернее, и спокойнее, и почетнее журнальной работы. У вас остались связи с университетом?

— С немногими из профессоров. — Он назвал двух, трех.

— Они руководят большинством совета. Их мнение принимается Щ***⁴ (тогдашним попечителем). По вашему знакомству я вижу, что вы магистр юридического факультета. В нем три кафедры вакантны. Выбирайте, через два месяца получите любую.

— Мне говорили. Но я не хочу деятельности, противной моим убеждениям.

— Даже и кафедра? Помилуйте!

— Мне странно слышать это от вас, — сказал он таким тоном, будто говорил путное.

Ну, детина! — Мы разговорились. Я стал подробно разбирать каждый пункт нашего предшествовавшего краткого объяснения, — по каждой статье доказывал рассудительность своего мнения, экзальтированность его взгляда. Он слушал терпеливо, спокойно; возражал холодно и коротко; большею частью, не ос-

паривал моих слов, — по очевидному непризнанию их заслуживающими возражений, — а только говорил: «ваш взгляд таков; я не могу разделять его»; — «мой взгляд кажется вам неправилен; я остаюсь при мнении, что он верен». — Я постепенно вошел в свою манеру подсмеиваться. Шутки мои не всегда отличаются соблюдением такта, бывают (по мнению других) часто неловки, неуместны, — полагаю, против моего намерения, — пошловаты до неприятности. Он принимал их с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения, с мягкою, несколько меланхолической улыбкой, которая явилась у него, как только стал разговор одушевляться, и уж не сходила с лица его все время; в его глазах, маленьких, серых, так и вонзавшихся в вас, светилось кроткое, задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно. Так мы толковали часа два. Он несколько раз входил в мой тон и сам подсказывал мне насмешливые обороты мысли против себя самого, и все тихим, будто минорным тоном: в его голосе постоянно звучало уныние. Это меня тогда же поразило: отчего унылый голос при самой свежей бодрости и твердости духа? — конечно, отчего: его общий образ мыслей печален, он все и день и ночь скорбит, как гражданин; это было и очень забавно, и очень мило. Что это очень мило, я оставил себя знать про самого себя; а что это забавно, я сказал ему; и он согласился, что это должно быть забавно. Да и вообще, он охотно смеялся над собою, — то есть над впечатлением, которое он должен производить. Но оставался совершенно как наковальня: как ни колоти, она только отзывается на удары, будто и слышит, но не остается никакого следа на ней от них. Уперся на своем, и баста. «Что ж из того, если другим это кажется неблагоприятно или смешно. По-моему — нет!» — вот вам и все. С тем мы и расстались. Я просил его зайти ко мне через неделю, что, может быть, я найду ему какую-нибудь работу, а вернее, что не найду, — но что важнее потолковать еще раз, — «нельзя ли вас сбить с ваших мыслей». — «Это напрасно», скромно отвечал он. — И я очень хорошо и давно видел, что напрасно. — «Конечно; но все-таки священный долг опытного человека — не оставлять без назидания восторженного юношу», сказал я, смеясь уже над собою. — «Конечно; и юноша обязан не скрываться от назиданий. Зайду».

II

Второе явление

В Петербурге часто бывает, что, долго не встречав ни разу человека, которого вы очень могли бы уже много раз встретить у общих ваших и его знакомых, вы вдруг начинаете встречать его очень часто. Дело случая.

Дня через два, через три после того, как новый Алферьев был у меня, мне случилась надобность побывать у профессора, — назову его хоть Молодым: он и тогда вовсе не был ни молодым человеком, ни молодым профессором, но он заслуживает этого псевдонима по юношеской чистой пылкости, которая сохранилась в нем. Это был один из тех профессоров, о которых мой новый знакомый упомянул, как о своих знакомых. Я застал г. Молодого за завтраком, вместе с его семейством, и он, по усердию к общей пользе, обозначаемому его псевдонимом, тотчас же горячо принялся толковать о деле, которое тогда довольно часто заводило меня к нему. Дело, точно, было важное, занимательное. Завтрак кончился, и мы перешли в кабинет хозяина. И хозяйка перешла туда вместе с нами, потому что дело интересовало и ее, женщину умную, образованную. Через четверть часа слуга доложил, обращаясь не к хозяину, а к хозяйке: «господин Алферьев». — «Скажи ему, что я сейчас буду готова», — сказала хозяйка мужу, вставая, и ушла. — Вошел мой новый приятель. — «Жена сейчас будет готова, Борис Константинович», — сказал хозяин; через две, три минуты хозяйка возвратилась, — «едем, Борис Константинович», — и они скрылись.

Мы с хозяином продолжали толковать о своем, — читали, слышали, справлялись, — часа три незаметно пролетели в работе и спорах; дверь кабинета отворилась, и вошла хозяйка в сопровождении своего кавалера. У нее в руках была связка, очевидно, происходившая из Гостиного двора, у него — другая, явно того же происхождения. — «Посмотри, что мы накупили для Анеты», сказала хозяйка мужу, связки развязались, явился кусок материи, — из рассуждений о ней я понял, что это какая-то особенная кисея; другой кусок — тоже что-то вроде другой особенной кисеи, и пошли куски материй, платочки, рукавички и всякое тому подобное добро, предназначавшееся для Анеты, тогда очень милой девочки лет одиннадцати (теперь уж почти невесты — славной девушки), — тоже уже явившейся восхищаться приобретениями, сделанными для нее. Отец Анеты, сообразно своему характеру, обозначаемому псевдонимом Молодого, тоже всматривался и хвалил, — ну, да ведь он-то отец Анеты, почему ему не посмотреть на наряды, радующие дочку, — а Алферьев-то из-за чего усердствует? — Мой Алферьев неутомим и неистощим в изложении свойств и достоинств кисей и платочков, рукавичков и воротничков, закупленных для Анеты.

Если б он хотел занять кафедру, было бы натуральным расчетом прислуживаться хозяйке для дружбы с хозяином, от голоса которого зависят кафедры юридического факультета; только, нет: этот голос нельзя купить, умный человек не станет и пытаться прислуживаться ему ли, жене ли его, — это значит проиграть всякий шанс кафедры. Да и это была бы низость, это не похоже на человека, который не хотел знакомиться со мною через своего

родственника, моего приятеля. Да ведь он же и не ищет кафедры, — профессор Молодой сам предлагал ему ее, без его искаательства, — он отказался. Что же это такое? — Едет из Коломны в Большую Конюшенную, чтобы отправиться в Гостиный двор с дамою, уже не молодою, не красавицею и смолоду, вовсе не охотницею до кокетства и смолоду, — и проводит с нею в Гостином дворе часа два, если не больше, закупаая наряды для 11-летней девочки, возвращается, чтобы рассматривать и объяснять эти наряды, — и как объясняет, показывает их. — Хозяйка скажет два, три слова о какой-нибудь статье покупки, а мой новый знакомый так и рассыпается, с жаром и обилием мыслей модистики профессорствует по части цвета и рисунка барежа и кисеи, — голос тих, и лицо задумчиво, — но и по голосу и по лицу слышно и видно, что скорбящий гражданин наслаждается. И хозяйка, видимо, признает его авторитетность по этой части и выражает полное довольство результатами своего послушания его советам в Гостином дворе, — и хозяин слушает и видит это равнодушно, будто так и следует молодому магистру юридического факультета равняться с сидельцами лавок Погребова, Рябова, Янсена Йооста сведениями по барежно-кисейному вопросу, — хозяин не удивляется такому проявлению юридического таланта.

Меня разбирал смех. — Лизавета Семеновна, — спросил я хозяйку: — давно произведен вами monsieur Алферьев в *dame d'autours* вашего двора?

— Да, я ему очень благодарна; Борис Константинович никогда не тяготится помогать мне своими советами, — отвечала она без малейшей насмешки.

— М-г Алферьев, — вы не рассердитесь, Лизавета Семеновна, — не скучно вам это, м-г Алферьев?

— Нет, отчего же скучно, когда у меня есть вкус и знание? — Это доставляет мне большое удовольствие, — отвечал скорбящий гражданин.

Началось сообщение мне сведений, и я узнал, — вещь уже не удивительную после того, что видел, — узнал, что мой скорбящий гражданин находится в отношениях модистики-советчицы не к одной Лизавете Семеновне, а ко всем дамам и девицам, с которыми знаком, утром ездит с ними в Гостиный двор и по магазинам, вечером целые часы и часы рассуждает с барынями и барышнями о их нарядах, — да ведь не то, что говорит любезности по поводу нарядов, — какое! — говорит серьезно, будто сам барышня, о том, какой покррой лучше, какой цвет идет к лицу, какая прическа изящнее; пользуется и наслаждается, и очень гордится своим авторитетом в этом деле.

— Борис Константинович, да вы бы издавали модный журнал, — сказал я ему в насмешку как-то раз, когда мы побольше познакомились с ним, — сказал в насмешку ему, и вздохнул, вспомнив то время, когда я был сотрудником одного модного жур-

нала ⁵ и даже писал в нем несколько раз обозрение мод, при таком феноменальном отсутствии всякого понятия о них, которое сделало бы честь любому трапписту ⁶, — о, какое стесненное было это время, когда следовало бы веселиться, пользоваться молодостью, — не мне, я тогда уж не был молод, — нет, не мне... а было нельзя — грустно было видеть это, быть причиною этого... ну, да ничего: еще будет время, вознаградится. — Впрочем, что ж я все сбиваюсь на свои дела. — Борис Константинович, да вы бы издавали модный журнал, — сказал я ему в насмешку.

— Я думаю об этом, — отвечал он очень солидно: — вы смеетесь над этим, но вы тут совершенно неправы. Моды, наряды — это очень хорошо и очень важно.

Плюшкин не по одному халату, а отчасти даже и от очень большой части — и в душе, я привык с глубоким пренебрежением смотреть не то что на такую крайность, какую видел в Борисе Константиновиче, а даже на самое умеренное развитие изящных наклонностей и светской грациозности в мужчине. Женщина — наша игрушка: игрушка должна быть нарядна, это ее право, это ее утешение, она должна заниматься этим; это источник ее бедной, жалкой возможности выбиваться из нашего порабощения, — это для нее дело серьезное, вопрос об ограждении своей личности, о приобретении какого-нибудь наслаждения жизнью. Но в мужчине мысль об изяществе своей личности казалась мне признаком пошлой пустоты. А в Борисе Константиновиче я видел такую дикость, которой и постигать не мог. — Заниматься своим изяществом — это в мужчине наклонность, положим, пустая, глупая, но все-таки понятная. Но он идет в тысячу раз дальше: быть руководителем дам в выборе нарядов, проводить в этом занятии целые часы, утешаться этим — такая странность совершенно нелепа.

И точно, я долго не мог понять возможности соединения в одном человеке таких несоответствующих качеств и стремлений, какие видел в Борисе Константиновиче. Очень долго я не был в состоянии характеризовать его в своих мыслях иначе, как словами «нелепый человек».

Если бы я изображал выдуманное лицо, мне не пришло бы в голову совместить в нем такие черты, а если б и вздумалось мне это, я, конечно, сообразил бы, что это лицо неправдоподобное, невозможное для романа, который не хочет казаться бессвязною сказкою. Но когда я близко узнал Бориса Константиновича, мне стало казаться, будто я понимаю его. Нелепым он все-таки остался для меня, но перестал быть невероятным.

Он несколько раз заходил ко мне справляться, не нашел ли я ему работу; мы несколько раз встречались у профессора, которого я назвал Молодым, у Ильи Никитича, и постепенно стали близки друг другу, — впрочем, не скоро, — и так же постепенно, — частью от него, гораздо больше от других, — я кое-что узнал и о его прошедшем, — больше всего я узнал от Ильи Никитича.

III

Какие сведения существуют в преданиях о свойствах, обнаружившихся, и подвигах, совершавшихся Борисом Константиновичем Алферьевым до начала настоящей истории. Также и о том, что в деяниях его было особенного и что не особенного

— У вас есть родственник Борис Константинович, — что он за человек и почему я ни разу не встречал его у вас? — спросил я Илью Никитича, когда увиделся с ним после первого явления Бориса Константиновича на поле моего зрения.

— Борис? — юноша. Впрочем, хороший юноша. Еще не установился и неизвестно, что из него выйдет; очень может выйти дрянь, а еще вероятнее — сумасшедший. Но гораздо больше можно рассчитывать, что когда установится и образумится, то будет умный и порядочный человек. Теперь он еще слишком экзальтирован, а я все холожу его. Ему это, конечно, не по вкусу. Потому он редко бывает у меня по вечерам, а когда у меня собираются знакомые, он и вовсе не благоволит посещать меня. Потому вы его и не встречали у меня.

— То есть вы продолжаете обращаться с ним так, как обращались, когда ему было 15 лет, а вам 20. Естественно, что он не хочет стоять в таких отношениях при ваших знакомых.

— Что, вы уж с выговором мне? А вы долго с ним говорили?

— Довольно долго.

— Ну, как же вы сам-то с ним говорили? Полагаю, так же, как я?

— И то правда. Он хочет выходить в отставку — безрассудство, но, кажется, его не переубедишь; — и хочет заняться журнальной работою. — Способен он к этому?

— Да, если захочет.

— Как же, если захочет? — Хочет.

— А что ж из этого, что ныне хочет? Завтра может не захотеть, — такой человек, что всегда делает бог знает что; вы спросили, что он за человек, — человек неблагонадежный, хоть и основательный.

Илья Никитич начал рассказывать, что он знал о нем. Этот рассказ после дополчился, как я уж говорил, кое-какими другими рассказами самого Бориса Константиновича и других, и вот какие сведения я теперь имею о жизни Бориса Константиновича до той поры, как я познакомился с ним.

С той самой поры, как Илья Никитич знает его, он все такой и был — тихий, кроткий, задумчивый, будто флегматичный, — с 5 лет, когда приехал в Петербург с семейством, по случаю перечисления отца из провинциальной службы в столичную. Флегматическая рассудительность никогда не изменяла ему. Он шалил в детстве, но с соблюдением спокойствия, хладнокровия, не забывался в шалостях, а между тем, переходил в них обыкновенные

пределы детской опрометчивости; вот как, например. Тогда ему было лет 8, 9. Сидит он на окне, в спальней, которая окнами на двор, и, высовывая голову из окна, посматривает вбок, на стену, — и смирно, хорошо. Смотрит мать через минуту — нет Бориньки. «Где Боринька?» — «Боринька, где ты?» — «Сейчас ворочусь, мамаша», отзывается смирный голос Бориньки снизу, снаружи, через окно — мать выглядывает с испугом: Боринька уж близко от земли, спускается по жолобу, — а квартира в 3-м этаже, от окна до земли сажени три, четыре. — Через минуту Боринька входит в комнату, не запыхавшись, ничего. — «Боринька, да как же это можно?» — «Да ведь я, мамаша, рассматривал: жолоб-то подле самого окна, — так хорошо достать руками». — «А как сорвешься?» — «Я подумал, мамаша, — только увидел, что как же сорваться? Он не толстый, не тонкий, в самую пору мне хорошо обхватить. И я сильный, ловкий». — «Ну, а если проволоки между листами перержавели, или тонки, и он весь оторвался бы под тобою?» — «А вот этого я не сообразил, мамаша. Виноват, мамаша, не годилось делать этого». — Рано стали замечать в нем, при ровной, мягкой послушливости почти во всем, дубовое упрямство в некоторых случаях. В первый раз он показал дикую настойчивость, когда ему было 6 лет, — он учился читать, и читал уж бойко. Вот, сидит Боринька и смотрит в книгу прилежно. Мать, проходя мимо, заглянула — книга лежит перед ним вверх ногами. — «Что это, Боринька?» — «А хочу и этак уметь читать». — «Вверх ногами-то? Да зачем это, Боринька?» — «Так мне вздумалось, мамаша». — И выучился читать вверх ногами. И все так, — что заберет себе в голову, то и делает. Сначала эти оригинальности относились к ребяческому вздору, как уменьше читать книгу вверх ногами, или как то, что, услышав ходячий посюду анекдот о Колумбе, поставившем яйцо на длинный конец, Боринька с месяц все трудился поставить яйцо на длинный конец без Колумбовской уловки, не раздавливая, пока эта напрасная фантазия сменилась успешным трудом над обучением скворца говорить: «Боринька, выпусти меня». — «Нет, еще нельзя, не умеешь сказать, чего тебе хочется», возражал Боринька на невнятные звуки; но когда остался доволен чистотою произношения своего воспитанника, поставил клетку на окно, покормил скворца из рук, поцеловал его головку. — «Ну, теперь скажи, чего ты хочешь». — Скворец молчал, Боринька сидел и ждал. — «Боринька, выпусти меня». — «Хорошо сказал, изволь». — Боринька отворил клетку — скворец выступил из клетки на окно, оглянулся, подошел опять к клетке, потерся о нее носиком, — попробовал подточить, хлопая крыльями, раз, другой, — закричал еще раз: «Боринька, выпусти меня», — взмахнул крыльями и улетел. — Боринька все это время плакал и улыбался, и долго смотрел в окно за полетом скворца, и все плакал. В этом уж виден смысл; а ребенку было только еще лет 11. Потом характер его упрямства сде-

лался еще яснее. Например, он стал требовать, чтобы прислуга звала его «ты, Боринька», а не «вы, Борис Константинович» — и опровергал возражения по сократовскому методу, в вопросах и ответах: «А ты скажи, Марфа, я кто? мальчик?» — «Мальчик». — «А Петров сын, Андрюшка, кто? мальчик или нет?» — «Мальчик». — «Ты его как зовешь? Андрюша или Андрей Петрович?» — «Андрюша». — «Он мальчик, и я мальчик; стало быть, и я кто же? Боринька я». Мать находила это лишним; когда услышал отец, вовсе сердился; прислуга не слушалась Бориньки; — но он не трогался с места и не отвечал, пока ему говорили «Борис Константинович, мамаша зовет вас»; выходили сцены, наконец, все устали, а он упрямствовал и таки добился своего: стали говорить: «Боринька, мамаша зовет тебя».

В это время Бориньке было лет 12, и Илья Никитич потерял его из виду лет на 5: Константин Григорьевич, отец Бориньки, опять уехал на провинциальную службу, — получил место губернатора в Симбирске, или Тамбове, или где-то в тех краях. Илья Никитич не мог сообщить мне, каким образом Боринька лет через 5 появился в Петербурге, один, для поступления в университет; только предполагал, что это не обошлось без ссоры с отцом, но подробностей не знал. Я потом услышал их от матери Бориса Константиновича, — сам он не любил рассказывать о своих подвигах.

Вылезание из окна 3-го этажа по жолобу, обучение скворца словам: «Боринька, выпусти меня», обучение домашних словам: «Боринька, мамаша зовет тебя» — все это мало доходило до отца; но Боринька подрастал, круг его мыслей и поступков расширялся, стал проникать в кабинет Константина Григорьевича.

Константин Григорьевич был человек совершенно честный, умный, знающий дела, занимающийся ими; но это несколько не мешало в его губернии твориться таким чудесам, каких в сказках не бывало, — почему не мешало, все равно; да нам и нет дела до этих чудес: нам нужен только сам Константин Григорьевич. Вот два, три случая, слышанные мною от туземцев, которых встречал я в Петербурге.

Однажды в хорошее летнее утро, часов в 10 возникли по всем улицам баснословного губернского города и полицейские солдаты, и пожарные солдаты, и проспавшиеся забранные вчера пьяные, с крестами мелом на спинах, чтобы не убежали, и просто мещане без крестов мелом на спинах, значит, нанятые городом или выставленные на натуральную повинность, которые не убегут, — по целой орде на каждой улице, и у каждого ордынца в руках ведро и мазилка, и каждая орда тащит с собою по несколько маленьких лестниц. — Что это такое? — Орды идут благонамеренным порядком, — вот, каждая орда рассыпается по своей улице отрядами, по 2, по 3 человека. — «Начинай», раздается команда старших ордынцев, — мазилки погружаются в ведра, вынимаются, и пошли писать водяною желтою вохрою все некрашенные заборы

и деревянные дома; — владельцы, паче владелицы домов подымают вопль, особенно новых сосновых домиков: новенькая сосна ведь так и белеет, лоснится на солнце, мило смотреть; но ордынцы действуют сколь мирно, столь же и невозмутимо, и склоняющееся к западу светило дня зрит уже пожелтевшими все дома и заборы баснословного города, которые зрело некрашеными, восходя над градом от страны восточной. — «А вы будьте благодарны, дурачье, — поясняли ордынцы: — даром обходитесь вам, на городской счет». — Впрочем, рассказав это, я вижу, что не рассказал еще ничего о Константине Григорьевиче, манием руки ужелтившем свою резиденцию. Но вот это уж особенное — только это уж не один случай, а повторялось раз пять, шесть в начале резидирования * Константина Григорьевича, пока не нужно стало повторять. Действие происходит в кабинете Константина Григорьевича. — «Нельзя, ваше превосходительство, — произносит правитель канцелярии или старший секретарь губернского правления: — закон говорит противное». — «Какой закон, укажите?» — Препятствователь берет с этажерки том Свода Законов, раскрывает, указывает статью. — «Это закон?» — «Закон». — «Он мешает?» — «Он мешает, ваше превосходительство». — Константин Григорьевич выдвигает ящик стола, бросает туда Свод Законов, задвигает ящик. — «Где закон? укажите». — Правитель канцелярии или старший секретарь молчит. — «Ступайте, пишите, как я велю», говорит Константин Григорьевич, разваливаясь в своем кресле. Умолкнувший возражает и идет и пишет. — И это выдвиганье и задвиганье сходило с рук Константину Григорьевичу. Впрочем, оно опять, быть может, еще не характеризует Константина Григорьевича. Так вот это уж, вероятно, характеризует.

Однажды поутру народ стал останавливаться у ворот ограды Рождественской церкви. — Что такое останавливается народ? Подошел полицейский, посмотрел, пошел в часть, доложил. Приехал частный пристав, взглянул, поскакал доложить полицеймейстеру. Полицеймейстер поскакал и доложил Константину Григорьевичу. «Узнать, кто», сказал Константин Григорьевич. Полицеймейстер поскакал к протопопу Рождественской церкви. Протопоп говорит: «Право, я ничего не знаю, кто и как». Тогда полицеймейстер поскакал на Московскую улицу узнавать из источника, — источник жил на Московской улице. Какой же это источник, — что, о ком и от кого узнавать поскакал полицеймейстер, и что это за происшествие, наделавшее столько хлопот полицеймейстеру? — Происшествие было такое, что поутру увидели у церковных ворот привезенный ночью колокол, пудов в 40—45 весом, а к ушам колокола привязана записка: «Сей колокол жертвуется в Рождественскую церковь неизвестным

* Резидирование — от *resider* (франц.) — жить, проживать, иметь местопребывание. *Ред.*

дателем для душевного спасения». Колокол, разумеется, новенький, с иглочки. Духовенство церкви перекрестилось с усердием: «Слава богу! Мы уж давно говорили прихожанам, что полиелейный колокол⁷ у нас треснул; да прихожане-то у нас не усердны к церкви. А вот, господь и послал со стороны милость свою». — Поехали, доложили архиерею; архиерей повторил то же, велел отслужить молебен и тащить колокол на колокольню. Тем дело и кончилось со стороны неизвестного дателя и духовной власти. Но когда полицеймейстер доложил губернатору, Константин Григорьевич вздумал спросить: кто неизвестный датель? — Какое было ему дело до этого? — Никакого; так, вздумалось. Протопоп не знает неизвестного дателя; но на колоколе, по обыкновению, надпись, на каком заводе отлит: «сей колокол, весом в 41 пуд 5 фунтов, отлит на заводе купца Сыроедова». Да хоть бы и не было надписи, все равно источник был бы известен; другого колокольного завода, кроме Сыроедовского, нет на 300 верст кругом. Вот полицеймейстер и поскакал к купцу Сыроедову. Купец Сыроедов говорит: «Точно; колокол с моего завода. Мой приказчик и отвез его нынешней ночью к церкви». «Кто неизвестный датель?» говорит полицеймейстер. — «Этого не могу сказать, потому что он запретил. Он для бога жертвовал, не для славы человеческой. Сами знаете, когда доброе дело получает славу человеческую, лишается заслуги перед богом». — «Так и не скажете?» — «Не могу сказать, батюшка: поклялся держать в тайне». — «Так и его превосходительству доложить, Иван Федорович?» — «Так и его превосходительству доложите, батюшка». — Полицеймейстер поскакал к Константину Григорьевичу: так и так, ваше превосходительство, не рассказывает. — «Не рассказывает?» — «Не рассказывает, ваше превосходительство». — «Привезти его самого ко мне». — Опять поскакал полицеймейстер к Сыроедову, привез его к Константину Григорьевичу. — «Кто неизвестный датель?» — «Не могу сказать, ваше превосходительство, побожился ему хранить в тайне, потому что он для бога жертвовал, а не для славы человеческой; вы сами, ваше превосходительство, изволите знать, когда доброе дело получает славу человеческую, лишается заслуги перед богом». — «Не рассказываете, Иван Федорович? Мне не рассказываете?» — «Не могу сказать, ваше превосходительство». — «В полицию», сказал Константин Григорьевич, обращаясь к полицеймейстеру. Полицеймейстер вздохнул, — он был приятель Ивану Федоровичу, — и повез Ивана Федоровича в полицию. — Сидит Иван Федорович в полиции в секретной, никого к нему не допускают. Семейство Ивана Федоровича сходит с ума. Иван Федорович, 65-летний старик, сначала дрожит от холода в нетопленной секретной, потом угорает чуть не до смерти, когда секретную затопили, чтоб он не замерз. — На другой день явился в полицию полицеймейстер. —

«Скажите неизвестного дателя, Иван Федорович; губернатор очень гневается на вашу непокорность». — «Не могу». — «Не можете?» — «Не могу». — Полициеймейстер вздохнул еще тяжелее прежнего и повез Ивана Федоровича в острог. Сидит Иван Федорович в остроге пять недель, в конце пятой недели получается из Петербурга предписание: «Купца первой гильдии Сыроедова выпустить с предоставлением ему права жаловаться на незаконное заключение». Предписание получено оттого, что, благо, архиерей почел себя прикосновенным к делу и послал донесение. — «Будете жаловаться, Иван Федорович?» спрашивают у него. — «Как же мне жаловаться, батюшка? У меня подряды, постройки, — пожалуйся, меня разорят». — «Да как же, Иван Федорович, ведь он вас изобидел?» — «Это точно, сильно изобидел меня, старика». — «А ведь вы, Иван Федорович, можно сказать, один из первых купцов у нас в обществе?» — «Это точно, можно сказать». — «Как же можно не жаловаться-то?» — «А я же вам сказал, как мне нельзя жаловаться-то». — Стало быть, и это дело сошло с рук Константину Григорьевичу; а может быть, и оно тоже не показывает еще ничего особенного в Константине Григорьевиче. — Ну, так вот это уже покажет.

Тоже все однажды нашли на улице убитого старика. Экая важность! — подумаешь: — каждый месяц бывала не одна такая находка. Но вот, подите же, на этот раз город почему-то вздумал удивиться, вздумал думать, тотчас же обдумал и пошел толковать: «Климchonки, Климchonки! — Это Климchonки убили!» В городе, видите, было поверие, будто завелась в нем новая секта, Климchonки, у которых вера состоит в том, что мужья должны забивать своих жен до смерти для своего и их душевного спасения и что эту свою веру Климchonки основывают на словах: «кто погубит свою душу, тот спасет ее»; «душа» кто же, как не жена? Следовательно, кто убьет свою жену, тот спасет свою душу, и женину тоже, потому что она — невинная мученица. Так рассуждали Климchonки, по мнению города. Существовала ли секта каких-нибудь Климchonков, разумеется, неизвестно; а скорее, что нет; а если существовала, то уж, разумеется, не рассуждала же таким образом. Оно, точно, многие мужья в том городе, как и во всяком другом, забивали до смерти своих жен, — но без всякого сектантства и не на основании иностранных слов: «кто погубит свою душу, тот спасет ее», а на основании родного нашего присловья: «жену люби как душу, тряси как грушу», поясняемого другим родным присловьем: «за битого двух небитых дают», и, вероятно, даже полагали, что жена от этого будет долговечнее, по третьему нашему присловию: «битая посуда два века живет», — но иногда в усердии к родному обычаю и хватали через меру — только. Какие тут сектантство? И опять же, если и существовали Климchonки, то ведь сами же горожане говорили, что по Климchonской секте следует забивать жен; а старик какая жена? — «Вздор, — сказал

Константин Григорьевич, — никаких Климчонков нет; я разузнавал об этом, и архиерея спрашивал, и с благочинным сколько раз говорил, — и они говорят, нет никаких Климчонков, а старик убит просто в драке. Поискать убийцу по кабакам». Поискали; по обыкновению, не нашли. Старика похоронили и тем покончил дело Константин Григорьевич, — но в городе рос и рос вопль: «Климчонки, Климчонки! Губернатор прикрывает Климчонков. Они станут всех нас убивать». Словом, до того взбудоражились мирные граждане резиденции Константина Григорьевича, что пошел слух по всему широкому царству Русскому и поднялось дело. Константин Григорьевич урезонивал производителей дела, что Климчонки, если бы и были на свете, никак не могли бы убить старика. Производители заговорили, что губернатор мешает делу, прикрывает Климчонков. Правитель канцелярии говорил Константину Григорьевичу: «Не мешайте; пусть делают, что хотят; а то вам плохо будет». — «Не попушу губить людей, которые ни в чем не виноваты», говорил Константин Григорьевич и продолжал опровергать производителей. Они уехали, не открывши ничего; приехали другие, важнее прежних, — стали распоряжаться помимо Константина Григорьевича. Насажали полон острог людей; нет места в остроге сажать больше; наняли большой дом, и его насажали полон; наняли другой, и тот набили битком. Константин Григорьевич не мог мешать, но продолжал урезонивать распорядителей. Правитель канцелярии продолжал советовать ему отстать; он продолжал отвечать правителю канцелярии: «пусть будет мне плохо; но не могу молчать при таком безобразии». И точно, через несколько времени пришла ему отставка, — почетная: перемещение в Петербург, на место без дела, рангом равное губернаторскому, с жалованьем больше губернаторского. Он сказал: «не хочу», взял чистую отставку и уехал в свою деревушку, — он имел душ 300. — Половина острога и два дома года два стояли набиты народом по стариковскому Климчонковскому делу, потом стали понемногу опоражняться: иные поудавлялись, другие так поумирали, но больше выпускали; — года еще через два рассортировали и всех остальных: больше выпустили, а десятка два и сослали за фальшивые показания и ябеды. Еще года через два пьяный мужик проговорился, что это он убил старика, без всякого климчонства, а просто: шли они вместе из кабака пьяные, поругались, старик хватил его кулаком по уху, а он хватил старика по голове топором, который на грех случился у него за поясом. И этого мужика сослали, разумеется.

Вот этот случай уже, конечно, нельзя назвать не показывающим ничего особенного в Константине Григорьевиче; потому он и не сошел даром с рук ему. Илья Никитич, когда рассказывал мне о единородном сынке такого родителя, не знал этих деяний родителя и без истории ограничился сильным отзывом о Константине Григорьевиче, как о человеке страшно упрямом и своенрав-

ном, обыкновенно взбалмошном, иногда обращавшем свою твердость и на хорошее.

— Так вот что? — заметил я на этот отзыв: — одна половина характера в Борисе Константиновиче от него; а другая не от матери же? — мать какого характера? кроткая и рассудительная?

— Так, другая половина характера от нее. Экий умница, какой догадливый, — сказал Илья Никитич и поцеловал меня в маковку. Я махнул рукою на себя, как имею привычку делать, когда заслуживаю такое ободрение. Да что, еще такие ли истины открываю я в разговорах. Раз я сказал, что у Гоголя был великий талант, — в другой раз, что коперникова система была очень большим шагом вперед в астрономии, — в третий раз, что пицца имеет влияние на здоровье. Мои приятели, слыша от меня такие истины, всегда поздравляют меня за них словами, иногда целуют в маковку; люди мало знакомые спрашивают шопотом: «что это?» — приятели отвечают им: «да, он рассеян; это только оттого, что он рассеян!» — малознакомые, находя такое истолкование недостаточным, покачивают головою. Но за эти же вещи, попадавшиеся в моих статьях, я заслуживал имя софиста, недобросовестного парадоксиста, и мало ли еще какого нехорошего человека. Вот как различна судьба одних и тех же слов в разговоре и печати.

Оно точно не требовалось быть ни Гоголем, ни Коперником, чтобы сообразить, что у такого лица жена была тихая, кроткая и рассудительная женщина; каковы ни были ее врожденные качества, хоть бы родилась она графиней Зрини и Лолою Монтез, она все-таки стала бы через несколько лет замужества ниже воды, тише травы и привыкла бы к рассудительности. — Но муж снисходил в ином ее ослабевшему здоровью, и благодаря тому согласился взять Бориньку с собою в провинцию, а не отдал в кадетский корпус или в училище Правоведения при своем отъезде, как думал. Но это была только отсрочка, чтобы подрос. Через год по приезде в провинцию сын стал просить, чтоб его отдали в гимназию, потому что веселее учиться с другими, чем одному. Отец не согласился, а сказал, что еще через год все-таки надобно будет отправить Бориса в корпус. Боринька приготовился к отпору. Он учился хорошо; но когда начались сборы к отправлению в корпус, он сказал, что посылать его нельзя, он не выдержит экзамена. — «Как так?» — «Так, не выдержу». — «Экзамен легкий». — «Никакого не выдержу». — «Не выдержишь в 3-й общий класс, поступишь во 2-й». — «Ни в какой класс не выдержу». — «Как?» — «Так». И пояснил, как так; мать сказала ему по-французски, что отец рассердится, что шутить нельзя. — «Я не понимаю, мамаша; скажите по-русски, я позабыл». — Отец рассердился и порядком поучил его. Но Боринька все позабыл; и географию позабыл, когда на другой день пришел учитель, и грамматику позабыл; готовился даже забыть уметь чи-

тать. Отец раза два вбивал ему память чубуком; не вбил, только притупил. После третьего раза Боринька сказал: «Вы видите, папаша, побои не помогают мне, а только делают мученье; так вы не мучьте меня, или я уйду». — «Куда?» — «Куда-нибудь». — Константин Григорьевич побил его еще побольнее и запер, сказавши: «Выпущу, когда попросишься». День прошел, другой день прошел — Боринька не просится, чтоб его выпустили. Прошла неделя: то же. Отец увидел, что дело доходит до слишком большой глупости; да и мать просила; отец сказал ей: «ступай выпусти». — «Пойдем, Боринька, папаша простил». — Боринька поблагодарил мамашу и сказал: «вы, мамаша, не огорчайтесь, о том я вас попрошу». — «О чем?» — «Оставьте меня тут еще». — «Зачем?» — «Потому, что это мне ничего; только скучно, а я могу терпеть». — Отец развел руками. — «Пусть сидит». — Боринька просидел еще дня три, уже с незапертою дверью, но не соблазнился выйти. «Довольно, — сказала мать: — видим, что ты можешь терпеть». — «Когда увидели, так покорно благодарю, мамаша, потому что мне было очень скучно». — Конечно, сердясь на сына, отец отчасти и был доволен такими его геройствами, думая: «в меня! молодец!» — и после нескольких подобных столкновений, в которых сын держал себя точно так же, Константин Григорьевич отпустил его в университет, чему не поверил бы, если б предсказали ему это года за три. — Это я слышал впоследствии от матери Бориса Константиновича; а из того, что слышал в начале знакомства с ним от Ильи Никитича, стоит рассказать еще о двух приездах сына к родителям в деревню на каникулы.

Понятно, что Константин Григорьевич, чрезвычайно тяжелый в семействе, не церемонился ни с прислугою, ни с мужиками, на резидирование между которыми удалился года через полтора, после отъезда сына в университет. Когда сын на следующее лето приехал в деревню, он в первый раз просидел за столом смирно, только поглядывал на отца, ругавшего неуклюжую прислугу, которая заменила в доме небогатого помещика прежнюю благодивную и расторопную прислугу губернатора; но на другой день сказал, что обедать будет один, у себя в комнате. «Почему?» — спросила мать. — «Если батюшке будет угодно, я скажу ему; это относится к нему». — Отец позвал его. Пошли объяснения; тянулись неделю, без успеха; сын уехал в соседний город, через две-три недели возвратился, и отец в остальное время каникул сдерживал себя, не дрался и не ругался. — На следующее лето сын хотел было итти дальше, облегчить положение матери, которую отец мучил своими капризами; но тут не мог сделать ничего, потому что мать слишком любила мужа, сама очень мешала сыну, ежеминутно поддавалась мужу и упрашивала сына не вступаться за нее. — Он должен был бросить начатое. Но, разумеется, и отец давно уж бросил мысль вмешиваться в

дела сына, чувствовал себя при нем стесненным, но и гордился им, видя в нем свой портрет.

По окончании курса Борис Константинович еще года полтора брал от своих деньги на свое содержание; небольшие деньги, потому что при своем небогатом поместье отец хоть и жил вообще очень скромно, но любил играть роль и иногда давал обеды с вином из Петербурга; да и сам Борис Константинович не хотел брать много: ему довольно было 500 р. в год. Выдержав экзамен на магистра и поступив на службу, он отказался от всякого пособия со стороны родных.

Вот каков был характерец моего нового знакомого: смирный, скромный, задумчивый, будто печальный, будто холодный, — все обдумывающий вперед, на всякие замечания отвечающий: «я знаю», делающий все по зрелом размышлении, но воплощеннейший упрямец, какой только бывал на свете: ко всему этому — с какой стати? — присоединяющий очень большую заинтересованность своим туалетом, пристрастие к изяществу до заботливости о наряжении всех знакомых дам. Я уже говорил, что если бы изображал выдуманное лицо, никак не вздумал бы, что эта черта может быть совмещена с остальным характером его физиономии; но чем больше узнавал я Бориса Константиновича, тем больше видел, что это у него не одинокая черта, что во всем в жизни проявляется у него сильная склонность, соответствующая страсти рассуждать о фасоне рукавов и воланов: изящество, изящество во всем. — В каких комнатах приходилось ему жить при начале нашего знакомства, это скоро будет рассказываться: в плохих, даже очень; но он украшал свою жалкую комнату очень изящною бронзовою статуэткою, изображавшею Рашель, — статуэткою, пережившею все другое его имущество. Мы с Ильею Никитичем смеялись сквозь тоску перед разлукою с Борисом Константиновичем, пересчитывая список вещей, которые он брал с собою в дорогу. Ему, по некоторым обстоятельствам, неудобно было самому заняться покупкою вещей для своего отъезда, и он поручил сделать это Илье Никитичу. Всего всех вещей на очень, очень дальнюю дорогу он хотел иметь только рублей на 60, 70, — а в это время у него были деньги; но он скупился, и справедливо; обрезывал свои надобности до последней возможности. Я в своем плюшкинском халате удивлялся скудности списка и говорил: — Ильея Никитич, необходимо купить несколько пар теплых чулок, фланелевую рубашку, — и я набирал много таких необходимости, пропущенных в списке. «Не хуже вас я знаю, что это было бы необходимо, — отвечал Ильея Никитич: — да ведь он не возьмет, бросит; вы знаете, каков этот юноша, — скажет: когда я нашел ненужным, то не нужно». — «Правда», сказал я. Зато те немногие вещи, которые он хотел иметь, он описывал в подробности, чтобы купить ему их именно такого сорта, какой ему нужен, и совершенно особенного сорта. Ручку для стальных перьев он пред-

писывал купить резную из красного коралла; почтовую бумагу — соломенного цвета; стальные перья — непременно в тисненной гуттаперчевой коробочке. Коротко сказать: половина вещей казалась взята из кабинета светского капризника, другая половина — с туалетного стола светской девушки. Но верх совершенства составлял портфель. Борис Константинович велел купить его непременно в английском магазине и очень отчетливо изображал длинную его характеристику. Замечательнейшею частью портфеля был замочек, — точно, совершенно особенный: в середине восьмиугольной стальной дамаскированной пластинки⁸ лежащее колесо с зубчиками; оно повертывается — и портфель заперт; если хотите запереть еще безусловнее, оно повертывается другим манером, и тогда снимается с восьмиугольной пластинки и кладется в карман; а на том месте, где оно было, на пластинке вырезаны арабески; очень, очень мило. — Но всего этого изящества было, как я сказал, на 60, 70 рублей. Это был список вещей спартанца, имеющего наклонности графа Д'Орсе. Он брал с собою несколько книг, в том числе Шекспира. Илья Никитич нашел очень красивое издание, в прелестном английском переплете; Борис Константинович, не рассчитывавший на подобную удачу, восхитился ею, и несколько минут Илья Никитич не мог отвязаться от его похвал за такого Шекспира.

Мне не случалось слышать, как Борис Константинович говорит по-французски, потому что по неспособности моей внимать какие бы то ни было звуки, кроме отечественных, все двенадцать языков бегут моего присутствия. (Прискорбна мне мысль, что я не мог действовать в 1812 году, по своей нерожденности тогда: Россия избавилась бы от нашествия, поставив меня на границе). Но Борис Константинович часто говорил мне, что будет писать по-французски, для европейской публики; из этого я заключил, что он очень хорошо знает французский язык; — что ж особенного, получил светское воспитание. Однакож, мне пришлось быть озадаченным от него и по этой части, когда он принес мне главу из романа, который писал по-французски. Читаю и разеваю рот: едва ли найдется во Франции десяток писателей, которые так свободно и энергично владеют французским языком; жгательность, сила, легкость — удивительные; решительно, первоклассный французский писатель по слогу. — Как это он умудрился? — Оказалось, что это одна из величайших его амбиций, совершенство во французском языке, и он бог знает сколько упражнялся, чтоб достичь этого таланта. «Это очень изящный язык, и составляет мою страсть», пояснил он.

Я уверен, что величайшее из его честных прискорбий состояло и продолжает состоять в том, что он не красавец.

Если было в нем еще что-нибудь особенное, кроме страсти к изяществу при страшном упрямстве, пусть постепенно выказывается из рассказа о его приключениях, как выказывалось для

меня этими приключениями. Но в первое время моего знакомства с ним сущность вопроса о Борисе Константиновиче состояла именно в его изящности при упрямом намерении бросить службу, «чтобы не испортиться».

IV

Как устраивается материальный быт Бориса Константиновича по выходе его в отставку. При чем твердостью воли Бориса Константиновича решается восточный вопрос

Жил он очень скромно; и одевался скромно, хоть очень изящно; даже и скромное все-таки стоит денег; кроме того, он обзаводился изящными вещицами. Поэтому у него не было ровно нисколько денег в запасе, а были, напротив, кое-какие небольшие долги. Впрочем, и без слабости к изяществу, трудно было бы ему в 23 года составить себе капитал, когда до определения на службу он получал от родных не больше 500 р., а, определившись на службу, отказался и от этого пособия. Спрашивалось теперь: чем же будет он жить, бросив службу, пока найдет себе литературную или другую работу? — Наличие его кассы могла продлить его земную жизнь на 2, на 3 недели. Что затем? — Если бы я нашел ему работу, было бы отлично. Но я одарен таким свойством, что всегда очень подолгу не мог найти работы для хороших сотрудников, — уменье распорядиться! Увидев, что от меня ждать нечего, Борис Константинович стал продавать свои вещи, распродал все в несколько дней, и все-таки остался без денег; — узнав это потом, я спросил, как же он устроил, что, продав вещей рублей на 300, остался все-таки с 25 рублями: «Я продал вещи, чтобы скорее расплатиться с долгами», сказал он. — Да почему ж вам именно в это время совершенного безденежья нужно было платить долги, которых вы не спешили платить прежде? — «Прежде у меня были верные доходы, я был уверен в возможности расплатиться, когда потребуют. Оставаясь без доходов, я хотел расплатиться немедленно, потому что не знал, скоро ли будет потом у меня эта возможность». Совершенно основательно.

Но зато он провел несколько месяцев в очень тесных обстоятельствах, так что продал напоследок почти все свое белье. На полсотни рублей он прожил месяца четыре. Удалось ему поместить где-то статейку, взять за нее рублей 30, — хватило еще месяца на полтора. Потом опять нет ничего. Он очень сильно нуждался. Наконец стали улыбаться ему две перспективы: одна недурная и верная; другая очень хорошая, но слишком неверная. — Русское общество пароходства и торговли имело тогда по крайней мере вдвое больше управляющих, агентов, заведующих и всяких служащих, чем все остальные торговли и пароходные

общества на свете взятые вместе; и особенно много у него было агентов на Востоке. Кто-то из имевших влияние в этом обществе сказал Илье Никитичу, что, может быть, достанет его родственнику место агента общества в Бейруте или Смирне. — Борис Константинович приходит в идиллическое восхищение от этой надежды: светлое небо Востока — полутропическая растительность — синее море, — он беспрестанно повторял стихи, неизвестно откуда взятые им (— уж не его ли собственные? только я не знаю, едва ли он писал стихи), но показавшиеся мне действительно очень милыми:

...В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя,
Убаюканный сладостным пением
Средиземной волны, —⁹

я буду сидеть и мечтать, ходить и мечтать, лежать и мечтать, — прибавляя он, прочитав эти строки своим мелодическим, тихим голосом. — Он давно мечтал о юге; он и прежде все толковал, что отправится на южный берег Крыма или Закавказье. А теперь — берег Сирии или Малой Азии, — какое же сравнение? — восторг, восторг! — Мы с Ильею Никитичем сочувствовали стихам о пурпурном солнце, полосами золотящем лазурное море; но считали еще более приятным обстоятельством то, что за слушание сладостного пения волны этого моря под благовонною древесною тенью благородное Русское общество пароходства и торговли дает 4 000 р. в год. — Борис Константинович сильно одобрял и эту карманную сторону перспективы, но пленялся собственно мечтательною частью ее. Однакоже пленительная перспектива была неверна, слишком неверна. Мы с Ильею Никитичем перешли от сомнения к полному безверию в нее; а Борис Константинович все еще мечтал и из-за этого ожидания, не слушая наших настояний, медлил согласием на другую, немечтательную, но все-таки очень хорошую вещь, шедшую к нему в руки: уроки географии, статистики и еще чего-то в заведении спекулянта, готовившего мальчиков и юношей к выдерживанию вступительных экзаменов во всякие учебные заведения от корпуса до университета. Плата за урок была хорошая, 2 р. в час, — спекулянт был такой молодец, что понимал свою выгоду в запускании пыли в глаза родителям даже и высотой платы учителям: значит, отлично; уроков было много, до 15 часов в неделю, так что годовой бюджет образовался слишком в 1 000 рублей. — «Берите скорее, он не может долго ухаживать за вашим магистерством; он же сам говорит вам это, — ему нельзя ждать», — твердили мы, — и в заключение убеждений Ильи Никитич бранил Бориса Константиновича, ссылаясь на меня, что вот и посторонний человек, а тоже готов ругать. Он бранил бы своего

кузена еще гораздо энергичнее, если бы мы тогда знали, что Борис Константинович в это время, после продажи зимнего пальто (дело было в начале весны), занимался продажей своего последнего сюртука, — но тогда мы только знали, что у него вообще не должно быть денег, а до какой степени их нет, мы и не подозревали: он сохранял изящество своего фрака со всеми принадлежностями, и кто же знал, что он редко обедает, когда у него были хорошие перчатки? — постясь, тайно от людей, как древние отшельники, он все носился мечтами по соседству мест, ознаменованных их подвижничеством, между Бейрутом и Смирною. Прошло два, три месяца, слухи о Бейруте и Смирне давно заглохли совершенно, — очередь должна была доходить до галстук, — Илья Никитич сказал однажды: «Теперь, Борис, надеюсь, скоро образумишься: перчатки-то у тебя уж такие же, как у меня. Верно, плохо становится». — И точно, через несколько времени пурпурное солнце и лазурное море задержались туманом даже от глаз Бориса Константиновича: он отправился к спекулянту и взял уроки.

— Экий ты счастливец, Борис, — сказал Илья Никитич: — всякий другой на твоём месте нашел бы уроки уж отданными; — удивительно! — за безрассудных счастье!

Похвалив его за благоразумие, которое он, наконец, оказал, я стал подсмеиваться над ним. — Какая ж в вас последовательность, Борис Константинович? Не хотите читать лекций в университете, потому что не можете читать сообразно с вашими убеждениями, а преподавать Географию Ободовского¹⁰ и Статистику Горлова¹¹ беретесь; — вероятно, эти книги совершенно соответствуют вашим убеждениям?

До сих пор я остерегался высказывать такое мнение, — пожалуй, наведи только на мысль, он и в самом деле брякнет: «да, это бесчестно, и я не сделаю этого»; — но теперь он взялся, значит, уж останется при своем, — но только, я напрасно думал, что мое замечание могло бы навестить его на мысль; он давно это обдумал и с самым серьезным видом возразил мне:

— На поверхностный взгляд это может казаться непоследовательностью: я согласен. Но я вдумался в этот вопрос глубже. Две вещи, которые вы сопоставили, совершенно различны. Вступая на кафедру, я беру на себя обязанность излагать науку, как я ее понимаю. Правда ли?

— Так.

— А здесь что я обязываюсь делать? — Приготовлять к экзамену. Я не берусь сообщать моего взгляда, от меня требуют только сообщения известного количества фактов. — Там, если я берусь за дело, я обязан развивать человека в человеке. Здесь я только обязываюсь приготовить мальчика к исполнению известной формальности, в которой, впрочем, нет ничего дурного, исполнение которой, напротив, полезно для него. Поймите, что,

находя при данной обстановке невозможным исполнение одной из этих вещей, я могу исполнять другую, которая не имеет ничего общего с нею.

— Понимаю, — сказал я. — Вы правы. — И с месяц хохотал над ним, говоря: «ну-ко, объясните еще раз».

А ведь, пожалуй, он и в самом деле был прав. Вот это долго затрудняло меня: почему всегда говоришь ему: «оно, пожалуй, и так; если хотите, вы правы», — и в то же время хохочешь над ним; почему нет возможности ни оспорить его, ни чувствовать, что он рассуждает дельно? — Но потом мне показалось, что я понял, отчего это: он возводит каждый свой личный вопрос к общим принципам, против которых никто не спорит; и с этой высоты тянет логическую нитку до своего уголка, чего не делает никто из рассудительных людей. Он серьезно принимает за норму действий то, что для всех нас игра слов. Кто станет спорить против того, что надобно добросовестно исполнять принимаемую на себя обязанность? — Борис Константинович и изречет вам эту истину; вы, по оплошности, скажете: «да, я согласен с этим», — думая: экая важность! — а он из этого и выведет вам такую штуку, что ему надобно выйти в отставку, или нельзя искать места профессора. А вывод правилен. Вот почему видишь, что результат нелеп, смеешься, а опровергнуть не можешь.

Итак, надобно было согласиться, что Борис Константинович поступает совершенно основательно в том, что берет на себя скучное и в сущности глупое дело — приготовление мальчиков к экзамену, — дело, которое не хуже его может исполнять каждый встречный грамотный юноша, — и находит противным своей совести братья за дело очень важное и полезное, на которое и у нас и везде очень мало людей вполне способных и к которому он способен, как очень немногие из этого малого числа. Но только что порешил этот вопрос с такою основательностью, как вышла новая комиссия.

Через неделю после основательного решения этого вопроса, человек, влиятельный в Русском обществе пароходства и торговли, приехал к Илье Никитичу и сказал, что место агента готово, устроено, пусть Борис Константинович собирается в Бейрут. — Илья Никитич отправился сообщить ему это приятное известие. Лицо Бориса Константиновича отуманилось, и он глубоко вздохнул. — «Что ты, Борис?» — «Как это жаль! как это жаль!» в прискорбии повторял Борис Константинович. — «Чего жаль?» — «Того, что это место погибло». — «Как погибло?» — он объяснил Илье Никитичу, как погибло, — разумеется, очень основательно; и потом повторил тот же аргумент мне, с тем же прискорбием. — Он, изволите видеть, дал слово содержанию пансиона, принял на себя обязательство, и нехорошо через неделю отказаться, — это значило бы играть договорами. — «Да послушай, Борис: ведь он ничего не потеряет от твоего отказа и не потерпит

никакого затруднения от этого; ведь легко найти на твое место хоть сто человек, из которых каждый будет отличным преподавателем, — ты только сделаешь услугу кому-нибудь из твоих друзей, передав ему эти уроки. Так ли?» — «Конечно, так; но ты, Илья Никитич, смотришь только на одну сторону дела; тут есть более важное соображение, общий принцип. Принято обязательство; оно справедливо, оно выгодно для обязавшегося; если бы оно было невыгодно для него, он имел бы право отказаться, хотя в этом случае показал бы себя человеком непостоянным, каков я не хочу казаться; но это обязательство даже нельзя назвать невыгодным для обязавшегося. Может ли человек отказываться от обязательства, когда оно выгодно для него, только потому, что, изменив обязательству, он получит больше выгоды? Если может, исчезает всякая обязательность договоров, подрывается основание связей между людьми...»

Илья Никитич не дослушал, с сердцем ушел. — Оспаривая намерения Бориса Константиновича в разговорах с ним, я обыкновенно защищал их без него, в разговорах о нем с Ильёю Никитичем. Но тут и я спасовал: это уж действительно походило на мономанию, которую нельзя нельзя защищать и за глаза.

После того Борис Константинович опять принялся читать стихи о пурпуровом солнце и лазурном море, и с месяц читал их очень печальным голосом. Видно было, что жертва, так глупо принесенная им в удовольствие его мономании, была тяжела для него.

V

Устроив свои дела, Борис Константинович начинает заботиться об устройстве чужих дел по тем же неоспоримо прекрасным принципам

Вот, таким образом, Борис Константинович устроил свои дела: по смешной фантазии бросил службу, которая обещала ему очень хорошую карьеру и на которой он, при своей твердости и честности, был бы полезен; по фантазии, еще более смешной, не захотел вступить на другую дорогу, тоже недурную в материальном отношении, — дорогу самую чистую, благородную, на которой он был бы: — уже мало сказать, полезен, должно сказать: чрезвычайно полезен; по фантазии, уже превышающей всякую меру смешного, отказался от места, стремлением к которому пылал; довольно долго — решительно только по своей дикой фантазии, подвергал себя тяжелой нужде; теперь, наконец, имел порядочное пропитание, но без всякой перспективы чего-нибудь сносного в будущем.

Если такой человек, как Илья Никитич, выходил из терпения, глядя на него, то уж, разумеется, он совершенно уронил себя во мнении всех остальных своих родственников и светских

знакомых. — У него было прекрасное положение в обществе, у него были превосходные надежды в будущем, — то есть еще недавно, и он был тогда прекрасный молодой человек, которого всякое почтенное семейство принимало хорошо, которого считали за недурного жениха даже в семействах очень высокого круга, недалеко от аристократии. Ему угодно было, ровно без всякой надобности, обратиться в человека ничтожного, на которого все благоразумные люди смотрели с чувством презрительного сострадания к его помешательству и подозрительного отвращения к его «дурным правилам».

И я не скажу, что его родные и светские знакомые были не правы. Безрассудство, дикое безрассудство — иначе нельзя было назвать того, что он сочинил над собою. Я полюбил его, потому что это безрассудство происходило из благородных мотивов; я уважал его, потому что видел в нем и твердость воли, и силу ума, и возвышенность стремлений; но — но все-таки я смотрел на него с соболезнованием, как на человека экзальтированного до нелепости, нелепости гибельной ему и бесплодной.

Только ли ему гибельной, только ли бесплодной? — Нет, я должен был соглашаться, когда Илья Никитич предсказывал ему, что он, с своими благородными мыслями, чистыми намерениями, великолепными усилиями, будет делать путаницу, вредную и для других, — потому что в обществе человек не может губить себя одиноко, — губя себя, он вовлекает в гибель и других. Люди в обществе стоят так близко друг к другу, что никто не может нанести себе ран, не задевая своим кинжалом и других; Илья Никитич говорил ему это серьезно и сурово, с досадою любви, потому что тоже любил его; я весело и шутивно, с обыкновенным своим балагурством. Он принимал и упреки Ильи Никитича и мои шутки с одинаково снисходительною, спокойною, грустною улыбкой, очень живо высказывавшею нам его мнение о наших мыслях и о людях, имеющих такие мысли, — эта тихая, грустная улыбка была еще яснее его слов, а и слова его были достаточно ясны: «Я смешон вам, — говорил он, — но почему знать, быть может, вы жалки мне, — более, чем жалки. В вас нет преданности истине. Вы так же знаете ее, как я, — в том же виде, — вы видите ее, но вы не любите ее; вы убеждены в ней — но вы не хотите применять ее к жизни. Я хочу и буду действовать по убеждениям».

Холодность, с которою говорил он это, всего больше пугала нас. Ясно было, что все его дикие выходки представляются ему вещами совершенно обыкновенными, что он делал их без всякого колебания и даже без особенного усилия, что его монomanия овладела всею его натурою, и он рассуждает о ней, поступает по ней так же инстинктивно, легко, машинально, как мы киваем головою при встрече с знакомыми, говорим «здравствуйте» и «как-ково ваше здоровье». — Не было никакого сомнения, что он

настроит много бед; — и не себе одному, потому что, как все фанатики, он любил впутываться в чужие дела, — не оставаться зрителем, а становиться советником, не оставаться советником, а становиться действующим лицом.

Само собою, что наши ожидания не замедлили оправдаться; еще бы не оправдаться!

Прошло с год — поменьше — после того, как я познакомился с Борисом Константиновичем, месяца три после того, как он потерял Малую Азию. Эта рана уже зажила в его душе; я уж не слышал от него стихов о пурпурном солнце и лазурном море с глубокими вздохами. — Однажды я зашел к нему с очень приятным известием, что отыскалась ему литературная работа: один из моих знакомых вздумал издать перевод «Истории Греции» Грота¹², одну половину перевода он рассчитывал сделать сам, — спросил у меня, не имею ли я знающего человека для перевода другой половины; я назвал Бориса Константиновича, мой знакомый поручил мне переговорить с ним. — «К досаде, я не могу взять эту работу». — «Почему же?» — «Я предвижу в моей жизни приближение катастрофы, — очень счастливой, но изменяющей весь характер моей жизни». — «Можно спросить, что такое?» спросил я. — «Нет, это тайна», отвечал он.

Недели через полторы, две, я застал Бориса Константиновича запечатывающим письмо. — «В этом письме — катастрофа, на которую я намекал вам», сказал он, опуская письмо в карман пальто. — «Можно узнать, в чем она состоит?» — «Еще нет. Завтра все будет решено, и тогда будет видно всем», прибавил он с пафосом и торжественным довольством, — состояние, которого он никогда не обнаруживал прежде: видно было, что дело слишком важно для него, если он не может не дать высказаться некоторому волнению. — Я стал говорить о деле, по которому зашел, о переводе Грота, что еще с неделю можно подождать ответа, чтоб он подумал. Он слушал плохо; когда я встал, и он взял шляпу, — «пойдем вместе», — увидев вывеску приема городской почты, сказал: «вот, я только сюда. До свиданья», но, пожимая мне руку при прощаньи, опять поддался чувству и произнес: «Как счастлив тот, кто встретит и полюбит женщину с высокою душою». — «Конечно, счастлив, шутя отвечал я, при двух условиях: если он сам человек с высокою душою и если женщина с высокою душою тоже полюбит его». — «Это разумеется само собою», серьезно отвечал он. — «И еще третье условие, дополнил я: если у этих любящихся людей с высокими душами есть деньги». — Он улыбнулся с снисходительным состраданием к пошлости моих понятий; не отвечая на третье условие, сказал «до свиданья» и пошел в лавочку отдавать катастрофу на городскую почту.

Ясно: возвышенная любовь с безденежьем. Несчастная! загубит он ее судьбу, подумал я: а вероятно, порядочная женщина. — И я покачал головою.

VI

Лица, соучаствующие в катастрофе

Почти все светские знакомые Бориса Константиновича стали холодно смотреть на него, когда он устроил свою карьеру по своим воззрениям, и почти все родные вознегодовали на него; а он, разумеется, перестал бывать у презревших и вознегодовавших. Но было одно семейство, занимавшее средину между родными и знакомыми, в котором он не замечал ни пренебрежения, ни негодования, — которое, напротив, принимало его с полною приветливостью, с уважением, как прежде. — Он привык часто проводить вечера в светском обществе. Теперь ему негде было проводить такие вечера, как только в этом доме. Он стал частым гостем людей, с которыми прежде не был близок.

Эти полу-родственники, полу-просто знакомые были вот в каком родстве с ним. Сестра Ильи Никитича, то есть двоюродная сестра Бориса Константиновича, была за полковником Чекмазовым, который служил в провинции; а брат полковника, Андрей Федорович Чекмазов, тоже человек женатый, служил в одном из министерств. Жену Андрея Федоровича звали Серафима Антоновна. Они были люди молодые, — свадьба их была года за два, за три перед тем временем, о котором я говорю. Вот они-то остались в хороших отношениях с Борисом Константиновичем, одни из родных, если могли назваться родными. В строгом смысле слова, конечно, не могли: брат человека, женатого на двоюродной сестре вашей — это уже не то, что по-петербургски, а и по-провинциальному чужой человек вам. Но Борис Константинович и Андрей Федорович говорили друг другу «ты», по-родственному, а Серафима Антоновна звала Бориса Константиновича кузеном.

То, что они остались дружны с Борисом Константиновичем, уж много говорит в их пользу. И точно, Андрей Федорович очень ценил Бориса Константиновича, потому что умел ценить всякого и умел видеть, какую пользу может извлечь из всякого. Он был мастер хорошо держать себя с людьми и служил очень хорошо. Ему не было еще 30 лет, он не имел ни блестящих способностей, ни особенной учености; но все-таки был, а еще больше считался, одним из самых ученых людей в своем министерстве и очень дельным составителем всяких важных бумаг по своему министерству, особенно ученых, административных и законодательных записок и проектов. Репутация его была тем тверже, чем выше был круг, судивший о нем. Равные считали его только человеком, работающим усердно, быстро, складно, недурно; непосредственные начальники — одним из лучших работников в министерстве; а когда еще высшие начальники говорили: «эту работу надобно поручить самому дельному человеку; кому

вы поручите», — то у подчиненного начальника постоянно подвертывалась на мысль именно фамилия Чекмазова; так что самое высшее начальство знало его за самого лучшего из лучших дельцов, которым он был только равен во мнении людей, дававших ему своими рекомендациями первенство над другими. Это не было следствием пристрастия или интриг: фамилия Чекмазова произносилась перед высшим начальством потому, что он был если не даровитее всех, если не дельнее всех, — зато благонадежнее всех; он не зарвется в дело так, чтоб от этого дело замедлилось, — он углубляется в него лишь настолько, насколько позволяет срок, и всегда приготовит работу к сроку; он не зарвется в дело так, чтобы дело расстроилось от этого, — он в записке или проекте проведет, правда, свой взгляд добросовестно, но лишь настолько, насколько это требуется сущностью предположенной меры. Он отличный исполнитель, и только; другие больше или меньше самостоятельные работники, — он только исполнитель, и если порученное ему дело никак не улучшится в его руках, зато оно идет в его руках совершенно так, как предположено повести его. Таких исполнителей было много для текущих, формальных, машинальных дел; но для дел важных он был один, — он один имел требуемую для них обширность образования. Он был единственный настоящий чиновник между учеными людьми, служившими в министерстве, единственный ученый человек между настоящими чиновниками; потому он шел вперед быстро, и его подвигали вперед не по личным пристрастиям, а потому, что он действительно был пригоднее всех. Тогда он ждал себе действительного статского советника, — теперь уж получил и, без сомнения, поднимется по должностям довольно высоко, — выше сослуживцев более его даровитых; и нельзя сказать, что он обгоняет их не по достоинству. Есть люди, которые умеют распоряжаться своими способностями с искусством, с каким отличный хозяин небольшого поместья распоряжается своим поместьем: средства не велики, но ничто у него не лежит даром, ничто не тратится на излишние затеи, ничто не пропадает — и смотришь, он получает с своего поместья больше дохода, чем другой с поместья вдвое, втрое большего.

Как умел он пользоваться своими способностями, так он пользовался и всем, и всеми, между прочим и знакомствами и знакомыми. Он любил заводить знакомства, поддерживать их, не манкировал ни перед одним знакомым и в каждом умел найти что-нибудь пригодное для себя. — Так, он умел найти полезную для себя сторону и в Борисе Константиновиче, из которого, казалось бы, нельзя извлечь никакой служебной пользы. Служебное значение Андрея Федоровича основывалось на том, что он человек умный и ученый, — таких исполнительных чиновников, как он, очень много; но между ними в его ведомстве нет никого, кроме него, имеющего репутацию человека, стоящего в уровень

с современными учеными понятиями, а это очень хорошая вещь, и в ней — основание необходимости, основание успехов Андрея Федоровича. Чтобы поддерживать это свое значение, он старался держаться в кругу ученых и умных людей. Он бывал у очень многих из них. И у него бывали некоторые профессора, кое-какие литераторы, кое-какие артисты; это много помогало его карьере. А Борис Константинович был очень пригоден, чтобы составлять компанию им, даже служить некоторою приманкою для них. Он был в этом отношении для Андрея Федоровича то же, что хороший повар для человека, основывающего свою карьеру на гастрономических наклонностях людей. При Борисе Константиновиче не могло быть ни пробелов, ни вялости в серьезном разговоре; его резкие парадоксы и давали темы для ученых бесед и оживляли их. — «Что вы никогда не заглянете к Чекмазовым? ведь он же бывает у вас», говорил, случалось, один умный человек другому. — «Скучновато у него, я полагаю. Кто там бывает?» — «Ну, разные, Алферьев бывает». — «Ну, этот хорош. То есть Илья». — «Нет, Илья редко; есть другой, Борис». — «А, видал и этого. Значит, ничего. Заеду как-нибудь».

Борис Константинович стал очень хорошим краеугольным камнем кабинета ученых и литературных экземпляров коллекции Андрея Федоровича. Но камень этот имел наклонность играть роль не в одной геогнозии, минералогии и других ученых собраниях, — ему нравилось быть и в обществе ювелирных вещей, — попросту говоря, он, просидев полчаса, час в ученой беседе Андрея Федоровича, уходил в гостиную к дамам, рассуждать о браслетах, брошках с неменьшею основательностью, чем об Эрратических камнях, по поводу которых называл Агассиса шарлатаном и истреблял его теорию ледников¹³ за то, что он пишет в Соединенных Штатах в духе плантаторов; в кабинете оставалась тема: «как? Агассис шарлатан? Как будто вся его ученая репутация создавалась заимствованием первых юношеских трудов Карла Фохта. Будто Фохт такой первоклассный ученый». Таких тем Борис Константинович успевал задать десятков в один час, так что хватало до закуски. Были всякие темы, по вкусу всякому: и литературные, и исторические, и юридические. Конечно, было бы еще лучше, если бы Борис Константинович оставался в кабинете весь вечер; но Андрей Федорович, как человек умный, знал, что нельзя же требовать от другого, чтоб он только служил нам, — надобно поступать так осторожно, чтоб он и не замечал, что служит нам, и поэтому Андрей Федорович не мешал Борису Константиновичу отдаваться его стремлению в гостиную, к дамам. Необходимость этого вознаграждения за труд Андрей Федорович понимал тем осязательнее, что и сам еще недавно увлекался.

Конечно, увлекался, и до того, что сделал огромную ошибку:

рано женился, когда карьера только начиналась, когда был еще очень далек от близкого теперь генеральства, — потому женился на девушке, не имевшей такого родства, в какое мог бы вступить он, если бы выбирать невесту теперь. Но, — человек умный, Андрей Федорович знал меру сожаления об ошибке. Она была неисправима; следовательно, нечего и раздумывать о ней. Андрей Федорович совершенно примирился с тою мыслью, что жена его — не более, как Серафима Антоновна. И неосновательно было бы не примириться: недостаток важного родства, — конечно, недостаток, вознаградимый ничем; но, насколько он может вознаграждаться, он вознаграждался. Начать с того, что Серафима Антоновна была женщина, на которую засматривались многие, но так как уж вперед ожидается, что именно она-то и есть «катастрофа», занимающая собою Бориса Константиновича, то лучше всего и познакомиться с нею из отношений между нею и Борисом Константиновичем.

VII

Борис Константинович сочиняет «катастрофу»

Прежде, когда Борис Константинович бывал во многих светских домах, Серафиме Антоновне доставалось мало вечеров проводить с ним, и он не занимался ею. Теперь, когда исчезли другие знакомства, когда он стал бывать у Чекмазовых чаще и чаще, он скоро сделался другом Серафимы Антоновны, и вот дружба, как и водится, перешла в любовь.

Когда бумаги Бориса Константиновича перешли на сохранение к Илье Никитичу, Илья Никитич отдал их мне. Я нашел между ними несколько тетрадок дневника. Борис Константинович начинал вести дневник раза три, — когда жизнь его бывала особенно занимательна для него. Первые листы второй серии дневника заключают в себе историю его любви к Серафиме Антоновне. Беру из них несколько отрывков. Вот самое начало:

«Я обращал слишком мало внимания на свою кузину С. Она женщина замечательного характера. Я убедился в этом ныне. Я увидел у них незнакомую даму, молодую, дурную собою, сухопарую, высокую, и спросил у Лизы, кто она. Лиза отвечала: «Линденфельс, институтская подруга сестры». — «Почему же я не видел ее прежде у кузины?» — «Прежде они с сестрою не бывали друг у друга; теперь возобновили знакомство». — «Почему ж они не бывали друг у друга три года? И почему теперь возобновили знакомство?» — «Я не знаю; какая-нибудь случайность», сказала Лиза и переменяла разговор. Мне показалось, что она знает, но не считает себя вправе сказать, и это заинтересовало меня. Я пошел к Андрею Федоровичу и спросил, кто такая Лин-

денфельс. — «А ты не слышал? — сказал он: — романтическая история, наделавшая шума месяц тому назад». Я ничего не слышал: как страшно я отстал от света! — «Нет, я не слышал; что такое?» — «Влюбилась в негодяя, который, подкутивши у Луи, стал хвастаться связью с нею, наделал других подлостей, — конечно, все отвернулись от нее. Серафиме стало жаль ее, и она, как видишь, захотела сделать, что может, чтобы развлечь и утешить ее. Мне, признаюсь, это не совсем нравится; но ты знаешь мое правило: жена не ребенок, ее нельзя водить на помочах. Да я и сам, ты знаешь, защитник эмансипации женщин. Я говорил Серафиме; но она отвечала, что считает это своею обязанностью; я не стал противоречить. Конечно, это даже и благородно, если хочешь».

Еще бы не благородно. — Осел!

Почти весь вечер я просидел с дамами, по обыкновению. Баронесса Линденфельс мне не понравилась, несмотря на свое несчастье: при голубых лентах на платье, зеленые перчатки. Я простил бы это купчихе, провинциалке; там это еще ничего не доказывает, кроме недостатка возможности к развитию вкуса; откройте эту возможность и — смотрите, что выйдет; раньше не судите. Но светская дама — если она не понимает, что одевается без вкуса, это значит, она лишена смысла. — Лизою я тоже не совсем доволен: у ней есть вкус, даже очень тонкий; но она слишком мало пользуется им. Зато ее сестра хорошо пользуется моими советами: она была ныне одета как нельзя проще, но очень изящно.

(Дня через четыре.) Я опять встретил у Ч. Линденфельс. «Я не мог бы так долго и часто сидеть с этою госпожою», сказал я кузине С., «как вам не скучно с нею?» — «Почему вы знаете, что мне с нею не скучно? Но...» — «Договаривайте же, кузина». — «Мне нечего договаривать», сказала она.

(На другой день.) Мы ездили с кузиной С. в магазин, как вчера условились. Наш разговор шел о туалете. Но вдруг она сказала: «У вас грубое сердце, Борис», — сказала это будто шутя, будто не давая значения этим словам, — будто они служили только острою, отвечавшею на мое замечание, что в Петербурге меньше красивых лиц, нежели где-нибудь. Но я понял, к чему это относилось. — «Вы напоминаете мне о Линденфельс, кузина?» — Кажется, ей было неприятно, что я угадал. Но она сделала над собою усилие и сказала: «Неужели, Борис, непростительно поскучать, для того, чтобы поддержать и утешить?» — «Не непростительно, кузина, а, напротив, прекрасно. Но слишком добродетельно. А вы знаете, я не люблю добродетели. Если б тут было хоть небольшое самолюбие, кузина, все-таки было бы лучше. Но чистая добродетель — это так скучно». — «Почему ж знать, что тут нет самолюбия? Вы такой скептик, Борис, что можете открыть его. Она все-таки баронесса Линденфельс, а я не

больше, как Чекмазова. Эта история забудется, Линденфельс опять будет в обществе, которое выше моего, недоступно мне, — может быть, у меня есть расчет на это». — «Вы приказываете мне так думать?» — «Да». — «Извиняю вашу добродетель». — «По крайней мере, не находите ничего особенного в том, что обязана была бы делать на моем месте каждая женщина».

«Каждая!» То и жаль, что слишком не каждая. Но тем лучше та, которая даже не знает, что она делает то, что сделала бы не каждая.

(Через несколько дней.) Мне не совсем нравится самоуверенность Лизы. «Милый кузен, я сама знаю, что мне к лицу. Жаль, что мое лицо не так красиво. Но этому не могут пособить ваши советы». — Сестра гораздо умнее ее и выезжает в свет не вторую зиму, а пятую; однако находит пользу в моих советах.

(Через два дня...) После у нас был опять такой разговор с Лизою, как третьего дня. Но я уже слишком порицал ее за то, что она пренебрегает искусством одеваться, — чуть не довел до слез. Нет, это несправедливо. Если она, быть может, очень серьезна, это не мешает ей оставаться девушкой и любить наряды, без любви к которым женщина — не женщина, да и мужчина — пень, а не мужчина. Я показал бы одного своего знакомого тем, которые вооружаются против заботы об изяществе в мужчине».

(Через пять дней.) Когда я вошел, кузина С. быстро встала и ушла. Через полчаса она возвратилась, и ей случилось взять меня за руку. Я удивился: «Кузина, отчего у вас такая холодная рука?» — «Это ничего, я умывалась». — «Вы умывались?» — «Да, чтоб освежить лицо». — Я посмотрел внимательно на ее лицо. Она сконфузилась. — «Кузина, вы хотели скрыть, что вы плакали? Но следы остались». — «Следы остались? Я плакала? Но вы с ума сошли, Борис. Мы так счастливы с Андре».

Меня нельзя обмануть.. Да и может ли Андрей Федорович составить счастье такой женщины. Она много, много выше его. Он пошел. Она должна чувствовать это.

Через час я сидел у него. Он был не в духе и как-то вовсе не кстати сказал пошлость о женщинах и женах: «Это игрушки, на которые приятно смотреть, но с которыми неприятно жить. Я совершенно разделяю мнение коммунистов, отвергающих брак. Жениться — это глупость». — Пошляк, неизлечимый пошляк! И хорошее понятие имеет о «коммунистах, отвергающих брак». Тебе, глупое животное, и понимать, что такое коммунизм и что говорят коммунисты. Они говорят, что ты осел и варвар — вот что они говорят.

«Борис, забудьте то, что я вчера говорила вам. Забудьте, забудьте, умоляю вас. С.»

VIII

Муж и жена. (Продолжение о лицах, участвующих в катастрофе)

Эта записка, вложенная между листами дневника, еще не имела на самом деле такого эротического характера, какой можно бы предполагать по ее восклицательному слогу. Да и все дело, когда была получена эта записка Борисом Константиновичем от Чекмазовой, еще не имело такого трагического положения, в какое было тотчас же после того поставлено решительностью Бориса Константиновича. Он вообще был расположен утрировать людей и вещи, потому напрасно вообразил Андрей Федоровича и глупым животным, и ослом, и варваром. Андрей Федорович не гений, не герой, — его натура вовсе не привлекательная, потому что он уж слишком расчетлив, благоразумен, примазан и прилизан. Но он не только не чудовище, он даже миловиден: маленького роста, худенький, хиленький, тоненький, но стройненький, с тонкими, но правильными чертами лица, молодежового не по чину, — что составляет его отчаяние, так что в последнее время он стал нарочно стараться хоть обрюзгнуть, если не удастся потолстеть, чтобы не казаться моложе своих лет; он человек и не злой, и не бесчестный, только немножко лиса; но у него и в мягком очерке губ и в голубых глазах написана неподдельная мягкость характера, готовность быть и добрым и милым. Несколько тривиален, правда; но это уж самая худшая черта и его характера и его физиономии.

Серафима Антоновна тоже не богиня Олимпа, как вообразил ее Борис Константинович. Она и не красавица, какую следовало бы ей быть, если б она была богиня Олимпа. Правда, она высокого роста, у ней стройная, длинная талия, — густые темнорусые волосы, большие томные голубые глаза, она производит некоторый эффект, когда бывает в обществе, — но такой эффект, какой производит целая половина молодых женщин, занимающихся собой, — никак не больше; какая она красавица! — далеко нет! Впрочем, многие находят, что она недурна, но только многие, далеко не все. Однако в дневнике Бориса Константиновича речь идет не о ее красоте, — красота подразумевается, — Борис Константинович пленился возвышенностью ее души, которая начала открываться ему с появлением баронессы в гостиной Серафимы Антоновны.

— Андре, — говорила Серафима Антоновна мужу: — не сердись, но я должна просить у тебя денег.

— Опять, Серафима. Не совестно ли тебе? Ты решительно доведешь меня до того, что я должен буду ехать в провинцию на доходное место и для денег расстроить свою карьеру. В провинции можно нажиться, но нельзя идти вперед по службе. Да и тебе самой приятно ли будет обратиться в провинциальную

барыню, хоть бы и первую даму в городе? Подумай, будь рассудительна. Через пять, много десять лет, мы и здесь будем жить богато. Но до тех пор повремени. Я не позволю вам, сударыня, расстроить мою карьеру. Извольте жить скромнее. К рождеству Понмарев опять подаст мне счет в 500 р. за ваши тряпки, как подал к пасхе. Я этого не хочу.

— Андре, ты опять все об этом; и таким жестоким тоном, будто я мотовка. И даже не спросил, сколько денег я прошу у тебя, так немного, мой друг: всего 20 рублей на ложу в опере, и для чего, если б ты знал, ты не стал бы порицать меня.

— 20 рублей на ложу в опере? Слишком низко хотите спуститься, сударыня. Еще ноги служат, можете подняться и в 10-рублевый ярус; а то не угодно ли в кресла, в 15-й ряд. Это будет нам с вами стоить всего 4 рубля.

— Фи, Андре, какие вещи ты говоришь! Неужели ты не помнишь до сих пор, что в креслах бывают только мешчанки и чиновницы? Что ты сказал это мне, так и быть, — но, пожалуйста, не скажи этого при ком-нибудь другом, особенно при дамах: ты скомпрометируешь и себя и меня. — И опять смягчив голос, но уже сохраняя в нем чувство достоинства, которого не было слышно в первых ее словах, звучавших только нежною просьбою, Серафима Антоновна продолжала: — И поверь мне, мой друг, я бережлива. Для того только, чтобы быть в опере, я не бросила бы не только 20 рублей, и 2 рублей. Но ты спроси, Андре, — голос ее переходил в назидание, — зачем мне нужна ложа? Ты очень много наговорил, а этого не спросил. Я пригласила баронессу Линденфельс ехать с нами. Вот затем нужна мне ложа в 20 рублей.

— Линденфельс? Ты успела познакомиться с Линденфельс? — спросил муж голосом таким же серьезным, как прежде, но уже совершенно другого тембра: — Как тебе удалось это?

— Вот, Андре, ты все бранишь меня за тряпки, как ты называешь, — отвечала Серафима Антоновна тоном уже полного назидания. — Я встретила Линденфельс у Вихман. А ты еще ворчал, когда я сказала поутру, что еду к Вихман.

— Ну, оставь это, Серафима, — сказал Андре, уже просто семейным голосом, каким говорят хорошие между собою мужья и жены о делах, по которым совершенно сходятся мыслями. — Ну, ты встретила ее у Вихман. Как же вы познакомились?

— Очень просто. Она не узнала меня; а я сначала показала вид, будто не узнала ее, потом вдруг вскрикнула и бросилась к ней: «Неужели это ты, Антуанетта? Сколько лет не виделись».

— Однакож это было рискованно с твоей стороны. Она могла сделать скандал, отсторониться от твоих объятий.

— Ах, Андре, как же вы, мужчины, несообразительны. Невозможно было бы не рассчитать, что теперь она будет рада зна-

комству с кем бы то ни было из женщин, принадлежащих к какому бы то ни было обществу. Понимаешь ли ты это?

— Умница, Серафима! — сказал Андрей Федорович и поцеловал руку жены.

— Нет, мой друг, это не заслуживает особенного удивления, — скромно и просто сказала Серафима Антоновна, мило поправив ласковою рукою волосы мужа, — несколько жиденькие, это правда, не такие густые, как ее, но все же недурные светлые волосы. — Удача в том, что я встретила ее в такое время, когда она еще безусловно исключена из своего круга и когда она уж успела почувствовать тягость исключения из общества; — итак, завтра мы едем с нею в оперу, — понятно, что с нею нельзя ехать в 3-ий ярус! — пополнила Серафима Антоновна с лукавою улыбкой жены, имеющей право на признательность мужа и искренно радующейся, что и она не бесполезная тунеядка; — на следующей неделе мы вместе едем на бал в Дворянское собрание, — как кстати подошел этот бал. Ты должен танцовать с нею, я найду других кавалеров.

— Умница, Серафима, — повторил Андрей Федорович и обнял жену, мило подставившую ему свои губки, которые очень многим казались недурными, и действительно были розовые, полненькие. Началась очень милая сцена.

Да, Серафима Антоновна была не глупа: кокетничая с Борисом Константиновичем, она сама указала настоящее объяснение дела, как только заметила, что одна добродетель не объясняет его — «не угодно ли вам подумать обо мне вот что» — и этим отвратила всякую возможность, чтобы чудак предположил тут что-нибудь, кроме чистейшей добродетели. Точно: приобретение дружбы баронессы Линденфельс было важно: пройдет год, барон помирится с женою, общество снимет анафему с нее, в ее салоне опять явятся графини и найдут в этом салоне Серафиму Антоновну и Андрея Федоровича Чекмазовых; чему это равняется? Это равняется тому, как если бы вдруг оказалось, что дядя Серафимы Антоновны не уездный заседатель мелкопоместной губернии, а симбирский или пензенский губернский предводитель, или что Андрей Федорович не Андрей Федорович, а помолодевший и поступивший в русскую службу с переименованием из *conseiller d'Etat** в статские советники Барош, или Бильйо, то есть патентованный администратор с прописанием на лбу «другого такого свет не производил».

Само собою, я не видел сцену между Серафимою Антоновною и Андреем Федоровичем, и они оба не так глупы, чтобы рассказывать ее другим; — я воспроизвожу ее наугад, но не совсем наудачу: я видел две очень похожие сцены между ними по поводу просьбы денег Серафимою Антоновною у Андрея Федоро-

* *Conseiller d'Etat* (франц.) — государственный советник. (Ред.)

веча; обе они и начались и кончились совершенно так, насколько можно было им итти в конце далее супружеских поцелуев при постороннем и не близком человеке, то есть очень мало дальше простого милого поцелуя. Но все-таки видно было, что между супругами существуют очень милые отношения.

Итак, обстановку объяснения я присочиняю по характеру других таких сцен между ними, виденных мною около того времени. А содержание объяснения знаю из очень ясных отражений его не только в их поступках, — это бы еще ничего, — а даже и в словах.

Вот как началась дружба Серафимы Антоновны с баронессою Линденфельс, послужившая для Бориса Константиновича первым основанием заинтересоваться Серафимою Антоновною, предположить в ней женщину с очень возвышенными чувствами, потом открыть, что она несчастна с мужем, потом и влюбиться в нее. Уж из этого одного ясно, что Борис Константинович фантазировал на тему, которую придумал сам, что он сочинил себе свою собственную Серафиму Антоновну, на которую вовсе не походила настоящая Серафима Антоновна. А горячий (хоть бы и холодный) человек, вроде Бориса Константиновича, уж, пожалуй, сочинил бы еще новую Серафиму Антоновну, тоже вовсе не похожую на настоящую, только уже в другую сторону, — Серафиму Антоновну, пустую женщину, проныру, притворщицу, дрянную женщину. Это будет несправедливость к настоящей Серафиме Антоновне.

Точно, в Серафиме Антоновне было и пронырство, и притворство, и очень много пошлого, и много дрянного, — но что ж такое? Из этого еще не следует, что она была дрянная женщина, или хоть вовсе пустая женщина. Она была просто такая же дама, как большая часть наших дам, — несколько похуже некоторых, несколько лучше некоторых из этого большинства. Тратить лишние деньги на наряды, хитро воспользоваться случаем, чтобы втереться в круг повыше нашего настоящего круга — что тут особенного?

Теперь почти не было бы надобности говорить, в чем состояла та сцена между Серафимою Антоновною и мужем, когда Борис Константинович заметил следы слез на ее глазах. Но Илья Никитич был свидетелем этой сцены, так почему ж не пересказать ее, когда есть такой верный источник? — Серафима Антоновна купила бархатный бурнус или что-то в этом роде, бархатное, — Илья Никитич сказывал, что именно, но я сбиваюсь в дамских нарядах, — итак, что-то, бархатное, стоившее 85 рублей, а муж разрешил ей израсходовать 50 рублей, и никак не более 60. — Выдав 55 рублей (беленькую и три красеньких) с этим разрешением, он отправился на службу, проработал на дому у очень важного начальника над очень важною запискою до 5 часов, возвратился

домой, измученный работою, в самом деле усердною, а в особенности раздраженный — не столько обиженный, сколько встревоженный за свои серьезные отношения к начальнику тем, что начальник не пригласил его остаться обедать; был дома за обедом сильно не в духе, придирался к тому, что суп дурен, пирожное пахнет мылом, а после обеда потребовал отчета о покупке, уже предполагая передержку; — естественно, что, при таком расположении духа с некоторою ломотою в плечах и поясице от утра, дело не могло обойтись без сцены, за которую, однакож, не надобно винить никого: начальник не пригласил обедать потому, что у него в тот день был обед интимный, секретного делового свойства, так что второстепенным людям не следовало тут быть, — итак, неприглашение Андрея Федоровича все же не было нелюбезностью с его стороны к Андрею Федоровичу, и через неделю, когда Андрею Федоровичу опять привелось работать у него, он пригласил Андрея Федоровича обедать самым любезным образом и изгладил все сомнения Андрея Федоровича простым, милым обращением своим за обедом. Итак, начальник вовсе не был виноват перед Андреем Федоровичем; Андрей Федорович точно так же вовсе не был виноват перед женою, что выместил на ней досаду; — в семейной жизни не всякое лыко в строку, и эти неудачные лыки очень скоро — в конце того же вечера — распрямляются: «Как измучился я ныне днем, Серафима, да и вот еще какая была неприятность», — скажет муж, в виде приступа, во время отдыха в дезабилье. — «Но зато ты должен, Андре, дать мне 50 р., потому что я должна сделать себе платье голубого дамá; оно стоит дороже, но остальные деньги я сэкономничала, и нужно только 50 р., и я тебя прощаю» — скажет всякая умная жена, — и неприятность забыта. Что дамá в подобных случаях всего приличнее голубого цвета, я заключаю из того, что именно голубого цвета было платье дамá, явившееся через несколько дней у Серафимы Антоновны, которая, по свидетельству самого Бориса Константиновича, отличается тонким пониманием того, какой цвет к чему идет; но можно заменять голубой цвет и другим, по вкусу или как лучше идет к другому лицу. — Вот какою милою развязкою кончаются сцены у умных мужей и жен. Для умной жены это даже — приятно: итак, нет большой вины перед женою на Андрее Федоровиче. Нельзя осуждать и Серафиму Антоновну за передержку, которая была причиною сцены: молодой женщине трудно удержаться от передержки против штата на наряды, когда она думает, — и может быть справедливо, — что у ее мужа больше денег, нежели он говорит ей. И опять, нельзя винить мужа, если он скрывает от жены часть своих доходов, потому что скажи он: «мы можем расходовать 5 тысяч» — окажется израсходовано 7 тысяч; следовательно, чтобы прожилось 5 тысяч, муж должен говорить жене: «мы не можем проживать более 3 с половиною тысяч». —

И опять тоже нельзя винить жену, что она следует своему соображению, а не словам мужа о его доходах, когда знает, что муж себе на уме. Он себе на уме, и она себе на уме. И опять, кого же можно винить за то, что он или она себе на уме? Неужели жить без ума? — Так жил Борис Константинович, и что хорошего вышло из этого — отчасти мы видим, а дальше увидим больше. — Словом, как ни раскидывай умом, ничего особенного нельзя открыть дурного в действительных качествах и отношениях Андрея Федоровича и Серафимы Антоновны, а видно в них много хорошего.

Коротко и ясно, Андрей Федорович и Серафима Антоновна были счастливы друг с другом, жили отлично и превосходно, когда Борису Константиновичу заблагорассудилось начать сочинять с Серафимой Антоновною свою катастрофу. Из всего, что мы до сих пор знаем, даже по его утрирующему дневнику до отправления записки восклицательного характера к Борису Константиновичу, Серафима Антоновна не входила с ним ни в какие отношения, из которых следовало бы сочинять катастрофу. Она кокетничала с ним; она всегда была непрочь пококетничать, — почему ж было не пококетничать и с Борисом Константиновичем, когда он подвернулся под руку? — Правда, он не был хорош собою; но зато у него были превосходные манеры, он удивительно говорил по-французски, вообще, был очень *distingué**. Да хоть бы и не был, так что ж такое? — все-таки он молодой человек, следовательно, нельзя не пококетничать с ним. Каждый молодой человек знает, что глупо принимать невинное кокетничание в серьезную сторону и развивать из него «катастрофу»; — все равно, как всякая молодая девушка знает, что нельзя верить комплиентам любезничающей молодежи. — Однакоже около Серафимы Антоновны было трое, четверо молодых людей, с которыми она кокетничала до своего знакомства с баронессою Линденфельс, и она не обращала особенных усилий на Бориса Константиновича: правда, он был очень *distingué*, но в ее глазах и те трое, четверо другие были тоже очень *distingués*, что ж особенно заниматься им? — Но баронесса дала ему решительный перевес в ее мыслях над другими *distingués*, объявив, что он имеет манеры самого избранного общества, мог бы с успехом быть *attaché* при посольстве и говорит по-французски, как Александр Дюма (*père* или *fils*, неизвестно). Правда, баронесса была набитая дура, и Серафима Антоновна признавала за нею это качество; правда, манеры самой баронессы были плоховаты, но вот, что ж вы прикажете делать; случилось же ей, менее умной, заметить в Борисе Константиновиче превосходство над другими, или это оттого, что она все-таки больше видела людей высшего изящества, чем Серафима Антоновна? — но если она могла це-

* *Distingué* (франц.) — светски воспитанный.

нить изящество, как же она сама оставалась плоховата и пошло-вата? — вероятнее, что она брякнула наудачу и случайно в этот раз попала на правду; но как бы там ни произошел отзыв баронессы, что Борис Константинович *distingué* из *distingués*, такой отзыв, хотя бы и набитой дуры, по баронессе Линденфельс не мог не иметь всепобеждающего влияния на мысли *m-me* Чекмазовой, хотя и смотревшей на баронессу, как на простоволосую дуру. И с того же вечера кузина принялась усердно очаровывать своего *distingué* из *distingués* кузена. Она была не настолько глупа, чтобы не понимать, какие свойства души ему нужны, — до сих пор она потому и мало кокетничала с ним, что свойства эти более скучноваты, чем удовлетворительные для других *distingués*. Но, когда он стал *distingué* из *distingués*, почему же было не потрудиться для него? — Кротость характера, возвышенность образа мыслей, томная жажда более широкой и свободной, простой и полезной жизни, вообще всякие стремления ко всяким великим идеалам и серьезным вопросам, все было выставлено ему в ясном свете, — и он не замедлил увидеть все, как показал его дневник. Правда, роль была слишком не натуральна: в ней было неловко бедной Серафиме Антоновне, и она играла так форсированно, что человек и не слишком хитрый увидел бы натянутость игры на многих из ее штук. Например, как было не догадаться, что она нарочно долго держала руку в холодной воде, чтоб потом взять этою ледяною рукою руку своего кузена, чтоб он узнал, что она умывалась, чтоб он спросил, зачем она умывалась в такое необыкновенное время, как 9 часов вечера, чтоб он увидел на ее глазах следы слез, которых иначе и не увидел бы при свечах. Были штуки еще грубее: Серафима Антоновна, видя простоту душевную своего *distingué* из *distingués*, без всяких ухищренных прикрытий остановит на нем продолжительный томный взгляд, потом вдруг встрепенется, — порывисто и глубоко вздохнет, — и тем обнаружит Борису Константиновичу, что в ней пробудилось мучение совести, и стремительно бросится к мужу, целует его, садится к нему на колени, то есть «пойми же ты, Борис, что я ищу в объятиях мужа спасения от преступной страсти к тебе»; и с тем вместе: «видишь ли, как я очаровательна в моих ласках, — почувствуй это, тиран моего сердца». Короче сказать, поступала с Борисом Константиновичем как с 14-летним школьником. И Борис Константинович принимал все за чистейшую монету, с добросовестностью 14-летнего школьника, и ангельские ее свойства, и томные взгляды, и ее страдания от пошлости мужа, и воспламенялся.

Из-за чего так трудилась Серафима Антоновна? Ровно ни из-за чего, — шалила, дурачилась, — нужно же чем-нибудь забавляться, чтоб не было скуки, — что тут важного? — Всякий взрослый человек знает, что тут нет ничего важного, что это ни к чему особенному не ведет, ни к чему не обязывает, что это

один из способов препровождения времени, принятых в обществе; кто помоложе, любезничает (если мужчина), кокетничает (если женщина), — кто постарше (уже без различия пола), играет в карты. Кто ж играет в карты затем или так, чтобы выигрывать или проигрывать состояние? — никто; решительно никто из тех, кого она знает. Говорят, где-то в Английском клубе ведется игра на десятки тысяч; но эти игроки не садятся за ломберные столы квартиры статских (вскоре будущих действительных статских) советника и советницы Чекмазовых. Так рассуждала Серафима Антоновна. А Борис Константинович, приличным образом воспламенившись, повел дело по своим убеждениям, и не успела Серафима Антоновна сообразить, что такое он с нею сочиняет, как уж и оказалась сочинена надлежщая «катастрофа».

Серафима Антоновна и Андрей Федорович жили очень счастливо по-своему: — тривиальны или не тривиальны были оба они, это все равно; — они отлично шли друг к другу и потому были счастливы. Но у них были минуты неудовольствия друг на друга, и вот, в одну из таких минут после чародейственного обряда мытья рук, — Борис Константинович почувствовал окончательное воспламенение к несчастной жертве с высокою душою, начал серьезное объяснение о том, что Серафима Антоновна несчастна с Андреем Федорычем, объяснял ей это, и не дальше, как через четыре дня уже получил от нее записку восклицательного характера «забудьте, забудьте!» — Это «забудьте» было еще забудьте не что-нибудь безвозвратное, — «забудьте» было только то, что вчера он довел ее до признания, что действительно, она несчастна с мужем. Она начала эту сцену кокетничаньем и притворничаньем, но ведь он говорил страстно, — голос хорошего артиста действует на нервы, — дамы, да и мужчины, в том числе и я — хохочут и плачут в театре и в опере неприговорно, — а голос настоящей страсти эффектнее всякого спектакля, и когда Борис Константинович ушел, — она еще, может быть, не десять минут оставалась чувствующею в самом деле «да, я несчастна». Через два, три часа нервы успокоились; она ужаснулась того, что она чувствовала и говорила, она вспомнила, что она говорила о муже в самом деле с негодованием, не шутя проклинала судьбу, соединявшую их, — и в этом ужасе она написала записку, — припомните эту записку — это уж едва ли кокетство: это простая, искренняя просьба женщины, испугавшейся, уж не заманивающей, а уж действительно желающей и умоляющей: забудьте! — Это она сама говорила мне, когда я отдал ей эту записку, найденную мною в бумагах Бориса Константиновича, и говорила так, что я верю ей. Я не слишком польстил ей в ее портрете и не очень-то расположен верить таким господам. Но на ней не было лица, когда она рассказывала эту сцену; она забыла, что ее губы подрумянены, когда

утирала пот, катившийся по ее лицу, и провела платком по своим губам так неосторожно, что на платке осталось красное пятно, а губы побелели с левого угла; — она и этого не заметила; — она потом утирала глаза этим платком, и смотрела на него, и не обращала внимания на красное пятно, — какое ж тут притворство? — Женщина была испугана напоминанием этой сцены через три года, — как же я не поверю, что она была испугана, когда писала эту записку через два, три часа после этой сцены?

Но ее просьба «забудьте» — совершенно искренняя просьба, как я вполне верю, была не из тех просьб, которые исполняются; — конечно, она произвела противоположное действие. Впрочем, я этого не знаю. Я только могу предполагать. Предположения тут вовсе не мудрены. Но я не знаю, как потом шло дело, или, по крайней мере, не имею теперь оснований верить тому, в чем меня уверяли после и чему я тогда поверил. В чем тогда уверяли меня, чему я тогда поверил и чему не имею оснований верить теперь, это вы прочтете на своем месте. А положительно мне известно то, что письмо, которое я видел запечатываемым, было, как я видел, отдано на городскую почту через две недели после получения этой записки, как я вижу из сравнения чисел. Итак, две недели мне неизвестны, а по прошествии двух недель — письмо с «катастрофой». Это письмо мне известно, и последствия его известны.

IX

Катастрофа

Вечером я видел Бориса Константиновича запечатывающим письмо, — на другой день, часу в шестом, вошел ко мне Илья Никитич с сердитым, очень сердитым лицом. «Извольте-ко почитать произведение моего братца, которого вы любите защищать», сказал он, подавая мне письмо, и посмотрел на меня и презрительно, и мстительно, и злобно. Я, как имею обыкновение, сильно струсил, хоть и знал, что я-то, по крайности, никаким грехам не причастен, но все-таки струсил: «Да что же читать? лучше вы так расскажите, Илья Никитич», сказал я, соображая, что Илья Никитич хочет за что-то подвергать меня наказанию. «А, вы хотите вернуться, — давайте же сюда, — он взял у меня письмо, — я сам прочту вам. Восхищайтесь».

«Милостивый Государь, Андрей Федорович,

Как человек просвещенный, стоящий выше предрассудков, Вы поймете, что я должен был поступить, как поступаю, обращаясь к Вам с прямым объяснением фактов, и что Вам необходимо с достоинством и спокойствием принять ту неизбежную

развязку, которую я сообщаю Вам. — Серафима Антоновна и я, мы любим друг друга. Ее благородная натура выше предубеждений мелочных мотивов. Она сказала мне, что любит меня и что бедность не страшна ей. Правда, мы будем жить скудно: люди, подобные мне, не могут доставлять житейских удобств тем, кого они любят. Но те женщины, которые способны полюбить таких людей, и не нуждаются в пустых мелочах, которыми дорожит большинство. Поэтому, не огорчайтесь за Серафиму Антоновну: она будет счастлива в бедной и темной доле, которую решилась разделить со мною. Завтра, в 12 часов, я приеду за нею. Надеюсь застать Вас, чтобы пожать Вашу руку, и, если нужно, утешить и укрепить словами дружбы и чести.

Ваш навсегда Б. Алферьев».

— Вы знаете Чекмазова? — спросил Илья Никитич, злобно прочитав письмо, — спросил так же злобно и устремил неподвижный, тоже все злобный взгляд; — как вам нравится такое обращение к моему почтенному родственнику Андрею Федоровичу?

Я почесал в затылке.

— А ее знаете?

— Видел мельком раза два, — отвечал я, довольный уж тем, что могу хоть на этот вопрос отвечать словоизъяснением, а не одним почесыванием затылка, и от этого удовольствия даже усугубил возвратившийся мне дар слова: — Ее я видел раза два, но только мельком, и не могу сказать, что знаю.

— Гм! — Точь-в-точь такая же, как муж! Поняли, умно?

Я снова потерял словоизъяснительность.

— Умно, умно! — повторил несколько раз Илья Никитич. Насытившись терзанием души моей, Илья Никитич изрек: — Вот каких людей вы защищаете. Стыдно, батюшка! Вам за тридцать лет! У вас через десять лет уже пора будет жениться сыну. — («Нет, я полагаю, через десять лет еще рановато» — кроме этого я ничего не нашелся подумать в оправдание себе.)

— Ведь это безобразие, батюшка! Ну, уж довольно. Слушайте, стану рассказывать, что из этого вышло.

И он начал рассказывать. Точно, было отчего ему злиться, видя такие штуки происходящими из убеждений, которые он считал святыми.

Письмо было отдано на городскую почту часов в 5 вечера, часов в 9 достигло Андрея Федоровича, сидевшего за работою в кабинете и предполагавшего, что через полчаса будет спокойно пить чай с женою, — вот, только допишет этот отдел какого-то отзыва со стороны министерства на какой-то проект другого министерства. — «Рука Бориса, — подумал он, взглянув на адрес. — Уж не болен ли, бедняжка. Славный малый, хоть чудак». С первых слов письма приятель славного малого разинул

рот; дочитав до слов «Серафима Антоновна и я, мы любим друг друга», почувствовал жар и озноб, дрожал от гнева, торопливо и безуспешно дочитывая письмо, — как зверь вбежал к жене, — она сидела перед зеркалом, поправляя прическу и прочие украшения, потому что к чаю могут быть гости. «Пошла вон!» закричал Андрей Федорович горничной и свирепо зашагал по комнате. Горничная бежала в недоумении. «Никого не принимать!» закричал он вдогонку ей, захлопывая дверь. «У вас амурь! изменять своим обязанностям! Я вас проучу, сударыня!» произнес он задыхающимся голосом, когда остался наедине с женою.

Серафима Антоновна побледнела при первом его крике горничной, — но тотчас же собралась с духом и гордо сказала:

— Что такое? Я ничего не понимаю. Вы с ума сошли, Андрей Федорович?

— Да, я схожу с ума, только от вашего безумия, сударыня! — он бросил ей на туалет письмо.

От смущения она могла разбирать только бессвязные слова; поняла, однако, что это письмо не к ней, а к ее мужу, — поняв это, она еще более растерялась, потому что о чем же может писать Борис к мужу?

— Или не можете понять, сударыня? А вам-то должно быть ясно. Он извещает меня, что вы в связи с ним и завтра собираетесь бежать; верно, затем сообщает, чтобы я снабдил вас деньгами на дорогу.

Серафима Антоновна помертвела, зарыдала — и бросилась к ногам мужа: — Андре, пощади меня! Я невинна! клянусь тебе! Он оклеветал меня!

— Как оклеветал? Что вы врете?

— Андре, клянусь! Он низкий человек! он клеветник! Андре, защити меня от него!

— Врете вы, сударыня! Какая тут клевета; у вас с ним была связь.

— Не было, Андре! клянусь!

— Как не было? С чего же он взял?

— Не было, Андре! Я не знаю, с чего он взял.

— Да с чего же nibудь взял? Было же что-нибудь? Признавайся: что у вас с ним было?

— Ничего, Андре! Мы говорили.

— Говорили? Только говорили? Врете, сударыня!

— Нет, Андре, только говорили! И он письма писал.

— Письма? Где они? Подай их сюда!

Серафима Антоновна встала с колен; но дрожала, бедная: не могла пройти через комнату; опустилась на козетку. — Я не могу идти. Они в той шкатулке, — вместо прежнего, отчаянного крика она говорила едва слышно: будто силы покинули ее, как она встала с колен; и точно — она была так слаба, что у ней закружилась голова от усилия подняться на ноги и пройти;

и Андрею Федоровичу было уж отчасти жалко ее: он видывал ее обмороки не очень редко и был знаток по этой части, — но это не приготовление к такому обмороку, — она в самом деле ослабела, бедная. — Они в той шкатулке, Андре, дай ее мне, — тихо договорила она.

Андрей Федорович подал шкатулку. Серафима Антоновна кое-как отперла ее при помощи мужа. — Вот они, Андре, возьми.

— Все тут? Не утаила? — Он внимательно заглянул в шкатулку.

— Нет, Андре; все.

Андрей Федорович порылся в шкатулке. Точно, больше нет.

— А еще нигде не спрятано?

— Нет, Андре.

— Извольте сидеть в вашей комнате, сударыня; никуда ни шагу, слышали? И не смей звать ни Парашу, никого. Сиди одна, покуда я прочту их.

Куда ей итти? Она сидела белая, как полотно, истерически переводя дух очень неровно. Он и сам дрожал, усаживаясь в кабинете с кипюю писем, и принялся читать их мрачный, как Аббадонна.

«Мы вчера много говорили с вами, Серафима Антоновна, но я не все досказал и потому пишу вам. Вы не давали мне этого позволения; но к чему же ждать? Мы понимаем друг друга. Так, жизнь человека должна быть служением идее. Блажен, кто живет для того, чтобы служить ей. Но что такое идея? Это трудно определить. Прогресс, — стремление к возведению человека в человеческий сан, — социализм, — это понятия более определенные; но именно потому, что они более определенны, они охватывают только некоторые стороны идеи; ее сущность, ее саму они еще не представляют собою. Идея — это живое соединение всех сил вселенной в «космосе», в стройном порядке, в гармонии. Идея есть стремление вселенной от хаоса к космосу. Сам человек есть результат идеи, стремления сил вселенной к созданию космоса из хаос...»

— Чорт знает, какая глупость, — подумал, даже произнося мысль губами, так сильно было впечатление, — подумал Андрей Федорович: — чорт знает, что такое! Положим, я еще в состоянии понимать; ну, а Серафима, что тут может она понять? — Как это она читала? — Андрей Федорович продолжал читать, брови его хмурились попрежнему, даже больше прежнего, но рот стал искривляться уже не попрежнему: судорожные движения губ постепенно переходили к презрительной улыбке, — он читал, читал — все та же ахинея, — вот уж третье или четвертое письмо, — как тут раздвинуться бровям, — голова трещит!

«... Эти чувства в значительной степени искусственные. Я не хочу этим сказать, что они не естественны, или поддельны, — нет, — но они получают настоящую свою форму от настоящего

характера понятий и привычек нации, которого нельзя назвать вечным. И мы видим, что в другие времена и в других странах эти чувства не мешали или не мешают историческим явлениям, которые несовместны с нынешнею их европейскою формою — вот вам и фактическое доказательство, что эта форма не вечна и не общечеловечна. У спартанцев некрасивые или слабые дети выбрасывались; припомните прекрасный миф, относящийся к другому греческому племени: родители Эдипа велели выбросить этого новорожденного младенца. Раджпуты (на юг от пустыни низовьев Инда, на север от Нербудды, — правильнее Нербадды) до недавнего времени убивали новорожденных дочерей. В этом зверском обычае можно найти фальшивое предчувствие истины. Не подумайте, что я защищаю его; я потому так и выразился, чтобы устранить такую мысль; я говорю: здесь есть предчувствие истины, но предчувствие фальшивое, то есть истина предчувствуется так, что в этом предчувствии является ложь. Совершенно то же надобно сказать о всех явлениях исторической жизни прошлого и настоящего: в них всех истина предчувствуется фальшиво и является ложью. Так и нынешняя форма привязанности родителей к детям есть ложь. Обязанность родителей состоит не в том, чтобы дать существование дитяти, но в том, чтобы дать ему счастливое существование. Это высказал Мальтус. Но сам Мальтус есть историческое явление, и потому в его формуле истина является ложью для нашего времени, которое уже предчувствует более полное решение вопроса о космосе человеческой жизни...»

— Чорт знает что! Экий дурак! — повторял Андрей Федорович. — «Но где откопал, что Нербудда — неправильно? Везде Нербудда; а по его — Нербадда; если бы такую начитанность иметь мне, то...» — думал Андрей Федорович, быстро перевертывая листы обширной корреспонденции, — в заголовках везде было имя его жены; но в самой корреспонденции играли роль лица, более известные в Европе вообще и в Петербурге тоже: Гершель-младший, мистрисс Бичер-Стоу, Александр Гумбольдт, — эти выставлялись более с хорошей стороны, хотя не без сильных порицаний; Прудон и Меттерних играли очень дурные роли, и назывались оба ренегатами истины, — Андрей Федорович даже было задумался: как же, Меттерних и Прудон порицаются оба? уж кого бынибудь одного бранил; и какой же истины ренегат Меттерних? — но думать было некогда. Героями переписки были — в одной половине Карл Фохт, в другой — Пьер Дюпон; только о них и отзывался Борис Константинович безусловно одобрительно; — какой Пьер Дюпон? есть Шарль Дюпон, но Пьер Дюпон? — а, вот: «Пьер Дюпон сменил собою Беранже...» Впрочем, было кое-что и о любви.

«...Я совершенно не могу согласиться с вашим мнением, что любовь непременно предполагает верность в пошлом смысле

слова. Почему не признать возможности минутного увлечения, после которого человек возвращается к постоянному предмету своей привязанности с чувством не только не ослабевшим, напротив, освежившимся? В человеке два стремления, из соединения которых возникает жизнь: сила косности (привычки), потребность неизменности, и противоположное стремление — искать нового, бросая привычное, потребность перемены. Всякая жизнь есть поляризация. В магнетизме, в электричестве, в ньютоновом законе, всюду вы видите раздвоение силы, стремящейся по противоположным направлениям и из противоположных направлений соединяющейся в одно явление — эта обратная сторона поляризации известна под именем теоремы параллелограмма сил, — вернее назвать её: диагонализм сил; итак, поляризация и диагонали...»

Нет, и это напрасно читать, Андрей Федорович все быстрее и быстрее переворачивал страницы, — везде все то же, все то же, о чем толковал Борис Константинович в его кабинете с учеными, литераторами и артистами: будущность человечества, борьба против предубеждений и подведение всего под закон поляризующегося диагонализма, — и нигде, никакого признака rendez-vous *, ничего похожего на связь; — о любви говорится часто, но все как об ученом предмете, будто отрывки из восторженного курса психологии. Все это пересыпано словами: «вы понимаете меня, я понимаю вас», — «ваша возвышенная душа предчувствует эту истину» — Серафима Антоновна и Аристотель, — Зороастр, Серафима Антоновна и Вишну, Дидро, Наполеон и Серафима Антоновна, — поэтому, не больше часа пошло на чтение целой груды писем: — вот и последнее, писанное уже третьего дня, и в нем ничего, кроме рассуждений. Андрей Федорович не мог не успокоиться; давно на лице была презрительно-веселая усмешка. Но, подходя к комнате жены для окончательного объяснения, он опять принял суровый вид.

Когда он отворил дверь спальни, его обдало запахом гофманских капель: у бедной Серафимы Антоновны сильно разболелась голова от плача и страха. Надобно побранить ее, но недолго и слегка, потому что он человек рассудительный: что бранить, когда, точно, нездорова; ведь он видит, что не прикидывается. Но слегка надобно побранить, нельзя же, — и он сказал строгим тоном:

— Видишь, Серафима, к чему ведут эти глупости? Разболелась голова; завтра, пожалуй, будешь больна; и все от своих глупостей.

— Нет, я буду здорова. Только прости меня. Я невинна, Андре. Он низкий человек, он клеветник.

* Rendez-vous (франц.) — условленное свидание.

— Я это вижу, Серафима. Но зачем же ты подавала повод к этому? Ты все-таки держала себя неосторожно. Рассказывай все, что у вас было.

— Ничего, Андре. Он только говорил, я слушала.

— А сама ты писала ему?

— Нет, Андре, что же мне было отвечать на такие письма? «И то правда», подумал Андрей Федорович. — Так не писала?

— Нет, Андре.

— Ну, хорошо, успокойся. Я прощаю, только впредь будь осторожнее. Теперь успокойся.

Андрей Федорович стал помогать служанке ухаживать за женою. Нервы Серафимы Антоновны понемногу успокоились, она оправилась: — тогда начались подробные, уже мирные объяснения, в которых Андрей Федорович чаще всего произносил восклицание «дурак, как есть дурак» — и вопрос: «как же ты, Серафима, связывалась с таким дураком?» — а со стороны Серафимы Антоновны вопросительный ответ: «я и сама не рада была, да как ты от него отвяжешься?» — и ко времени сна грядущего уже восстановились благополучнейшие супружеские отношения.

Х

То еще не была настоящая катастрофа, — настоящая катастрофа здесь

Борис Константинович, неизменно точный в соблюдении назначенного времени, явился, как писал, в 12 часов. Слуга попросил его пройти к Андрею Федоровичу. Андрей Федорович вежливо и цеременно встал при появлении ожидаемого гостя.

— Очень благодарен вам, Борис Константинович, — начал он официальным тоном, — за вашу готовность утешить и подкрепить меня в моей печали. Но прежде всего позвольте спросить вас, какое право имеете вы писать мужу клеветы на его жену, и сообразны ли такие поступки с правилами чести?

Борис Константинович, входивший с намерением заключить несчастного в свои объятия и излиться в ободрениях, остолбенел и, приняв позу и физиономию остолбенелости, сохранял ее без особых усилий воли.

— Прошу вас садиться, Борис Константинович, — это будет удобнее, чтобы выслушать мои замечания, потому что они будут довольно длинны.

Андрей Федорович указал кресло, Борис Константинович машинально сел.

— Понимали ли вы, что вы делали, когда писали мне ваше безрассудное письмо? Как могло прийти вам в голову обращаться ко мне с такими словами о моей жене, которая не для

меня одного, так хорошо знающего ее благородство, но и для всех, сколько-нибудь знающих ее, выше всяких подозрений? Если бы я не знал, что вы только безумец, то я бы не знал, какое имя дать подобному поступку, который превосходит всякую меру наглости в клевете, не могущей притом иметь никакой...

Но Борису Константиновичу нужно было лишь несколько секунд, чтоб оправиться от первого изумления, и он уже подвел неожиданную встречу под свою теорию: дело ясно. Он увидел, что ошибся в благородстве Андрея Федоровича; Андрей Федорович, хоть и говорил ему всегда, что разделяет его убеждения, но ведь говорил только из желания казаться передовым человеком, а на самом деле человек прозаический, пошлый; он поступает, как обыкновенно поступают в этих случаях домашние деспоты; запер жену, быть может истерил ее, и говорит, что она не любит Бориса Константиновича; обязанность Бориса Константиновича: защитить ее от тиранства, возвратить ей свободу, дать ей обещанное счастье взаимной любви. В его мысли уж мелькнул весь процесс фактов, нужный для достижения этой цели при неожиданно оказавшейся пошлой тиранической хитрости мужа; вот как это будет. Андрей Федорович говорит: «вы не увидите ее»; он отвечает: «увидю», встает и идет к ее комнате; Андрей Федорович становится в двери кабинета и говорит: «вы перешагнете порог только через мой труп». — «Если необходимо, я готов». Дуэль — глупость; но если варварство принуждает, нельзя иначе. Один пистолет заряжен, другой нет. Кому достанется заряженный? Это любопытно. Если падает он, Борис Константинович, что ж, он исполнит долг; если падает Андрей Федорович, они уезжают в Америку. — Борис Константинович обдумал все это, пока Андрей Федорович произносил начало своего выговора ему, — и, обдумав, спокойно поднял на Андрея Федоровича глаза и твердым, но по обыкновению тихим голосом сказал:

— Вы хотите сказать, что Серафима Антоновна не имеет того намерения, о котором я говорил в своем письме к вам? Вы позволите мне заметить, что в этом случае только ее собственные слова могут иметь убедительность для меня.

Андрей Федорович холодно и горько улыбнулся. — Вам угодно лично объясниться с моей женою? Я надеялся, что у вас достанет деликатности пощадить ее от этого.

— Я сказал свое мнение и остаюсь при нем. Я должен видеть ее.

— Вы непременно хотите этого?

— Да.

Андрей Федорович пожал плечами и позвонил. Вошел слуга.

— Доложи Серафиме Антоновне, что Борис Константинович желает видеть ее и что я просил бы ее принять его. Ты не перерешь? — Слуга повторил слова. — Так.

Слуга ушел. Несчастный муж и счастливый любовник молча ждали его возвращения. Борис Константинович был холоден и спокоен. Андрей Федорович пожимал плечами и морщился.

— Серафима Антоновна просят извинения: они не могут принять, — сказал слуга и вышел.

— Вы видите? Вы согласитесь, что она права, уклоняясь от встречи с человеком, который так оскорбил ее и меня в ее лице.

Но теперь Борис Константинович улыбнулся с горьким презрением. Это уж слишком понятно: заговор с слугою. — Я должен видеть ее, — сказал он еще спокойнее и тверже прежнего.

— Вам не жаль так мучить женщину? Вы называете себя благородным человеком?

Борис Константинович не удостоил его ответом. Его ответ был только в его взгляде, говорившем: «Я должен видеть ее; ты не можешь помешать мне».

Андрей Федорович опять пожал плечами и вздохнул. — Как ни глубоко я сознаю, что ваше требование не сообразно ни с чем, я пойду сам настаивать, чтоб она исполнила его. Но, Борис Константинович, поймите же, до какой степени дурно требовать, чтобы муж просил жену о том, что и по ее и по его мнению унижительно для нее. Вы хотите подвергать сомнению мои слова, — как вы можете делать это, я не понимаю; но все равно: я принужден дать вам улику, что если кто из нас двух здесь играет бесчестную роль, то не я. — Имейте терпение подождать моего возвращения.

Андрей Федорович ушел и довольно долго не возвращался.

«Какой пошляк! — какие пошлые уловки! С ним не будет дуэли». Так думал Борис Константинович, но уж отчасти и не так думал: он уж чувствовал, что что-то неладно, что факты будто начинают не подходить под его теорию.

Андрей Федорович возвратился. — Ваше желание будет исполнено, — сухо и спокойно сказал он; — моя жена пришлет сказать, когда будет в состоянии принять вас.

Борис Константинович поклонился. Они опять сели молча; Борис Константинович неподвижно, Андрей Федорович с легкими машинальными жестами нетерпения.

— Серафима Антоновна просят пожаловать, — сказал слуга. Оба встали. — В гостиную, — с пренебрежением сказал Андрей Федорович, пропуская Бориса Константиновича на один шаг вперед.

Серафима Антоновна, бледная, с сверкающими глазами, стояла, опершись левою рукою на высокую спинку кресла; едва Борис Константинович появился в дверях, она сделала другою рукою знак, говоривший: остановитесь!

— Вы желали меня видеть, — сказала она резко и громко, —

чтобы удостовериться, что я не зашита в мешок и не брошена в море. Вы видите, нет. — Она слегка наклонила голову и показала рукою на дверь.

Но Борису Константиновичу и этого было мало. Он стоял как вкопанный. Зачем он стоял, уж бог его знает. Едва ли он мог продолжать сомневаться, а впрочем, может быть, он хотел до конца исполнить свой долг, — долг требовал, чтобы он видел ее наедине и получил от нее свободный ответ, — или он стоял потому, что растерялся. — Андрей Федорович понял в том смысле, что он стоит для исполнения долга.

— Кажется, Борис Константинович все еще сомневается, Серафима; — может быть, по его мнению, ты боишься при мне высказать свои истинные чувства к нему. Я уйду, чтоб он не сомневался.

— Андре, я запрещаю тебе оставлять меня с этим человеком.

— Нет, Серафима, позволь; иначе он, пожалуй, станет думать бог знает что, — и Андрей Федорович повернулся, вышел из гостиной, затворил дверь и прошел в свой кабинет.

— Вы бесчестный человек, Борис Константинович; я даже не ненавижу вас — только презираю. Я запретила мужу вызывать вас на дуэль и не позволю ему принять ваш вызов. Прощайте.

Она повернулась и пошла к двери, противоположной той, у которой стоял Борис Константинович.

XI

Объяснение катастрофы

— Да что ж это такое, наконец? — спросил я Илью Никитича, когда он рассказал мне это дикое происшествие.

— Да чорт знает, что такое, решительно чорт знает что, — отвечал он догматически.

— Да как же это, наконец?

— Да я же вам говорю, что чорт знает как. Потому-то Борис Константинович и есть Борис Константинович, что с ним происходят такие события.

— Да, наконец, ведь он же не в белой горячке?

— Это как вам угодно; по-всегдашнему.

— Но нет же, наконец, был же какой-нибудь повод ему написать это письмо; кокетничала она с ним?

— Аааах! — с глубоким чувством произнес Илья Никитич и посмотрел на меня с отчаянием. — Аааах! так вы вот о чем спрашиваете. Что вы, новорожденный младенец, что ли? Да ка-

кое же «коклетничала»? Понятно, полагаю, что должна была быть связь. Без этого, конечно, не написал бы, хоть и сумасшедший. Сумасшествие только в том, батюшка, что он рассудил, что когда он ее любовник, то она его любит; а того не рассудил, что дамы имеют любовников не для любви, а для развлечения.

— Так она дрянь, — сказал я.

— Фу ты, господи! — ну, чем же она дрянь? Как мужья имеют других женщин на содержании, так жены имеют любовников; те и другие не по серьезному чувству, а для развлечения. Чем же тут жены хуже мужей? — Это нужно со стороны жен для восстановления равновесия в супружеской жизни. А вы скажете: «но страдает семейная жизнь», а я вам говорю: «нисколько». Муж дает содержанке столько денег, столько времени и всего, сколько остается лишнего за исполнением обязанностей семейной жизни; не жертвует выгодами жены для содержанки; — так и жена вовсе не изменяет ни мужу, ни семейной жизни для любовника; любовник — игрушка, муж — серьезная вещь. «Делу время, а потехе час» — правило нашей старины, — чать помните? А что это не похоже на ваши с Борисом Константиновичем теории, не спорю. — Впрочем, я чувствую, вы и меня-то доводите до того, что я глупею. Ведь я не затем приехал к вам, чтобы рассуждать о нравах нашего общества. Я к вам не за такими наивностями, а за делом. Андрей Федорович не продолжал объяснения с Борисом, как ушел в кабинет, и не вышел уж к нему. А как ушел Борис, он поехал ко мне и рассказал все, как было. Это умно, он умнее, чем я думал, даже благороднее. — «Вы хотите, чтобы я докончил мытьё головы моему братцу? — говорю я ему; точно, это лучше, чем вам было продолжать сцену с этим сумасшедшим». — «Да, — говорит, — я хочу просить вас — избавить меня от этой неприятности. Он довольно наказан, а в моих глазах это дело не имеет важности. Но теперь хорошая минута, чтоб урезонивать его для его же пользы». — «Это правда», говорю я. Вот я и отправляюсь к Борису и захотел позвать вас. Поедемте.

— Зачем же мне-то ехать? В наказание мне за то, что я защищал его, вы ведете меня присутствовать при его казни?

— Пожалуй, хоть и так. А серьезно затем, что он знает, что вы, подсмеиваясь над ним в глаза, за глаза защищаете его; во мне он видит слишком холодного судью, а в вас — самого расположенного в его пользу. Так пусть же видит, что, серьезно говоря, и вы не можете противоречить мне.

Я вздохнул. — Почтенную роль вы даете мне, Илья Никитич; что вот, Борис, смотри: сидит, сидит очень глупый человек, но даже и тот понимает, что ты глуп.

— Ну, все равно, поедем.

— Поедем, — сказал я, тщательно и не безуспешно сгоняя с лица кислую мину.

XII

Более удовлетворительное объяснение катастрофы, восстанавливающее то, чему было повреждена катастрофа

— Любопытно бы посмотреть, что делает Борис, — сказал Илья Никитич, подходя к двери Бориса Константиновича.

Подсматривать было не нужно: мы услышали ровные, но торопливые шаги. Борис Константинович быстро ходил по комнате. Это у него уж самая высокая степень волнения, когда он начинает рассказывать быстрыми шагами. Он редко обращается к этому занятию, но, принявшись за него, оказывает неутомимость: может ходить часов шесть и больше; и в это время, также не переставая ни на мгновение ока, потирает руки.

— Здравствуй, Борис; отличился! — начал Илья Никитич без всяких предисловий: — очень хорошо! Андрей Федорович рассказал мне все; и Серафима Антоновна пополняла; а я вот ему рассказал, твоему сочувствователю, мы с ним приехали хвалить тебя, — «утешить и подкрепить», как ты выражался в письме. Не стыдно, Борис?

— Не смейся, Илья, — это не смешно, а грустно, — сказал Борис Константинович с улыбкою, довольной печальнее обыкновенной, не прекращая своей прогулки.

— Что тут грустного? — Только смешно; но может быть и полезно, если послужит тебе уроком.

— Чего? — с этим словом Борис Константинович остановился перед Ильею Никитичем, как умный перед человеком, сказавшим глупость.

— Рассудительности, положительности!

— Я очень рассудителен и положителен, гораздо больше тебя и всех вас. — Выразив это мнение с внушительным движением бровей, Борис Константинович отвернулся и опять пошел ходить; но уже не торопливыми шагами — значит, значительно успокоившись, что оправился, и не потирая руки, а спокойно заложив их за спину.

— Так что ж это такое вышло с тобою?

— Ошибка.

— Но всему есть предел; и ошибке тоже. Ты можешь по ошибке принять муху за пчелу, но принять муху за слона, — это уж не ошибка, это помешательство. Какие основания были у тебя сочинить, что наша почтенная кузина намерена бросить мужа для тебя? Положим, она объяснялась тебе в любви, поло...

— Она не объяснялась мне в любви.

— Даже и не объяснялась! — воскликнули Илья Никитич и я в один голос. Борис Константинович оказался превзошедшим все наши соображения.

Но, всегда отличаясь сообразительностью и находчивостью, я с этого восклицания переложил голос на пояснительный тон,

соответственно тому переводя и взгляд с Бориса Константиновича на Илью Никитича, с приличным заменением удивленного вида тем самым, какой получило лицо Пифагора, когда он открыл теорему, известную под его именем: — Видите, Илья Никитич, честный человек всегда скажет это, какие бы причины ни были у него в ошибке. Он всегда будет выставлять себя одного за виноватого, в случае надобности даже за идиотски-глупого, лишь бы не упало ни малейшей тени на репутацию женщины.

— Кто вам сказал, что я желаю выставлять себя идиотски-глупым? Я несколько не желаю этого, — несколько раздражительно, то есть, по масштабу его самообладания, совершенно теряя власть над собою, возразил Борис Константинович новому Пифагору, останавливаясь перед ним: — кто вам сказал, что я дам кому-нибудь право называть меня дураком? Что я пощажу для этого кого-нибудь или что-нибудь? — продолжал он, возвышая голос: — кто вам сказал, что у меня не было очень основательных причин к предположению, которое оказалось ошибочным. Я имел совершенно достаточные причины думать, что она бросит мужа для меня. Да, были отношения, совершенно уполномо...

— Молчите! — с неопианным благородством воскликнул я, в трепете, что своим пифагорейством раздражил самолюбие Бориса Константиновича до того, что он падет в грязь, доказывая, что у него была связь с Серафимой Антоновой.

— Я не намерен молчать, — резко перебил он, продолжая стоять передо мною, но уделяя взоры поровну мне и Илье Никитичу: — потому что не желаю выставлять себя дураком, когда я вовсе не был им. Да, были отношения, совершенно уполномочивавшие меня находить, что она решила бросить мужа для меня. Он — вы его знаете; это проза, посредственность, пошлость. Я говорю беспристрастно. Он не в состоянии понимать моего или вашего образа мыслей, — потому что образ мыслей у меня, у вас, у Ильи Никитича, у всех нас один, надеюсь. Она вполне сочувствовала всему, что я говорил. Женщина с таким взглядом, с такими стремлениями не может выносить общества такого человека, как статский советник Чекмазов. Согласны ли? — Но, видя на моем лице такое крайнее замешательство, при котором нельзя ждать от человека ясных ответов, он обратился к Илье Никитичу: — согласен ли ты, Илья? Вообрази, что ты или я женщина; могли ли бы ты или я жить с Андреем Федоровичем? Отвечай.

— Нет, не могли бы, ты прав, — отвечал Илья Никитич серьезным тоном; — это не подлежит спору, не могли бы, ни я, ни ты. Это было бы самое мерзкое мучение, самая отвратительная гадость, а не жизнь. Я бы удавился, если бы уж не мог уйти.

— Итак, я совершенно логически заключил, что жизнь с ним должна быть несносна для нее. Между тем, для человека необ-

ходимо любить; и она соглашалась, что не понимает жизни без любви. Кого ж она могла полюбить при таких стремлениях, какие видел я в ней? Только человека с подобными стремлениями. Такой человек подле нее был я один. Следовательно, она должна была любить меня.

— Вывод сделан основательно, только из чего же он сделан? — спросил Илья Никитич: — откуда ты взял, что она имеет какой-то образ мыслей и какие-то стремления, которые имеем мы с тобой? С чего ты это выдумал?

— Она слушала меня с таким вниманием, показывала такое сочувствие к моим мыслям.

— Так, так; я уж и спросил только для очищения совести; по началу твоего рассуждения было видно, что именно это, и только это. Так и она говорила и мужу, и мне, когда был у нее перед тем, как поехать вот к нему. — Что ж было между вами, спрашиваю я у нее: — вы знаете, я человек скромный, и уж вовсе не тетушка с моралью, — мне нужно же знать, когда вы поручаете, чтоб я докончил объяснение за вас. — «Он говорил, а я слушала». — Я не поверил ей. Но сказал: «Итак, я считаю возможным взять с собою одного постороннего господина, присутствие которого было бы полезно. Могу я сделать это, Серафима Антоновна?» — «Совершенно можете, кого вам угодно». — Вот, я и привез его: она разрешила, так что ж мне не взять его с собою. А все-таки не верил ей. Теперь верю, братец ты мой, Борис Константинович, «он говорил, а я слушала» — верю, верю!

— Но, Илья Никитич, вы... — начал было я, вспоминая свою пифагорейскую теорему.

— Нет, — холодно и твердо отвечал Илья Никитич: — не полагайте, что он умалчивает что-нибудь для охранения ее репутации. Нет, вы видите все дело, как на ладони. Оно неправдоподобно, потому я и не верил. Но я ошибался, это видно. Ну, Борис, как ни хорошо я тебя знал, но до такой степени глупым человеком все-таки не предполагал. Вы интересуетесь разными науками, — обратился он ко мне: — поблагодарите моего брата: он вам показывает сам в себе такую редкость, что любознательный человек не поленится проехать тысячу верст посмотреть ее. — До сих пор была известна натуралистам одна порода людей *homo sapiens* — человек, отличающийся от обезьян рассудком; теперь мы отыскали другую породу: *homo insipiens didacticus**, человек, не отличающийся рассудком от обезьян, но необыкновенно сильный в диалектике. Полагали, что эта порода млекопитающих вымерла около того же времени, как вымерла в другом классе позвончатых, в классе птиц, порода Дронт-Дуду¹⁴.

* *Homo sapiens* (лат.) — человек мудрый, мыслящий; *homo insipiens didacticus* (лат.) — человек глупый, но поучающий.

В средние века обе эти породы множились и процветали; вскоре после того как Магеллан совершил первое кругосветное плавание, обе начали вымирать. Соприкосновение с купцами, матросами было губительно для обеих пород. Как вы полагаете, кто это ходит по комнате? — Фома Кемпийский, Фома Аквинат, Эригена, — схоластик средних веков, *doctor angelicus* *, «учитель ангельский» — одного из них так именно и звали, как его следует назвать: *doctor seraphicus* *; Серафимский учитель, — это млекопитающий Дронт-Дуду.

Млекопитающий Дронт-Дуду ходил себе по комнате, как ни в чем не бывало, — не быстрыми шагами, а тихими, то есть не в волнении или досаде, — нет, равнодушно. Илья Никитич говорил и говорил, а он слушал, будто и не о нем идет речь, будто это, точно, безобидная лекция из естественной истории.

— Так, так, узнаю тебя в этом, Борис, — говорил Илья Никитич: — из того, что женщина, от нечего делать, по небольшому кокетству, быть может, а главное, по любопытству слушает твои диссертации, которых даже не понимает, — из того, что она слушает их, ты заключаешь, что она влюблена в тебя; из дикого, не подтвержденного ничем заключения, что она влюблена в тебя, ты делаешь новое заключение, что она готова всем пожертвовать для тебя, которому, вероятно, не дала бы даже своего поцелуя, вероятно дававшегося не одному мужу, вероятно, отказала бы в этом пустом поцелуе, если б тебе вздумалось протянуть за ним губы, — щелкнула бы тебя по губам, но вам не нужно этого, Борис Константинович, вы не такой человек, вы уж знаете, что эта женщина, которая разве-разве позволяла бы вам поцеловать ее руку, что она готова — чего готова, уж решилась стать из-за любви к вам женщиною погибшею во мнении общества, разорвать все отношения к людям, из которых не только ее муж, ее сестра, каждая ее приятельница, для нее интереснее и дороже, чем вы, — променять порядочную обстановку на бедность. Ах, ты сумасшедший, ах, ты сумасшедший! — Но мало того, что ты сумасшедший, ты слепой сумасшедший. — Не имей мозга в голове — это большое несчастье; не имей глаз во лбу тоже очень большое; каждого из них достаточно, чтобы человек был жалок, — в тебе соединяются оба. Что ты сумасшедший, ты, полагаю, понимаешь; доказывать ли тебе, что ты слепой? Как же ты смотрел на нее и не замечал, что она совершенно под парю своему мужу? — Илья Никитич пустился в подробное изображение свойств Серафимы Антоновны, припоминая, в каком ее поступке очень ясно высказывалась ее пустота, в каком — тщеславие, в каком — какая другая пошлая замашка, и все приговаривая к каждому

* *Doctor angelicus, doctor seraphicus (лат.)* — ученые звания в схоластической науке.

анекдоту: ведь это было при тебе, ведь ты торчал же тут? Помнишь?

На каждый такой вопрос Борис Константинович отвечал, как следует добросовестному собеседнику: «помню», и продолжал ходить, не делая никаких других замечаний, кроме только «помню», — ни одного слова.

— Посмотри же ты на себя, — продолжал Илья Никитич, — какую пошлую роль ты разыграл в этом деле. — Ты считаешь себя человеком и умным, и благородным, — а как смешон, туп, пошел был ты в этой сцене с Андреем Федоровичем, которого ты презираешь; а он был тут умен и благороден; — как бездушен и низок был ты, добиваясь объяснения с этою несчастною женщиною, перед которой ты страшно виноват, — которой ведь это объяснение было страшно пыткой, — тебе еще это было нужно, как будто мала была мерзость, которую ты сделал ей твоим письмом. Она тоже пошлая женщина, как ее муж, но в этой сцене ты был низок и подл перед нею, она благородна. О, в какое унижительное положение ты поставил себя! Как ты компрометировал убеждения, представителем которых являлся! Ты повергнул святыню наших убеждений в кучу навоза, на поругание, на оплевание всем дуракам, на попрание всем животным! Ты преступник! Если бы можно было нам составить суд над тобою, ты был бы повешен.

— Половина десятого, Илья, — сказал Борис Константинович, вынимая часы: — пора к Желтухиным; вы тоже едете к ним? — Из твоего раздражения, Илья, я вижу, что ты любишь меня, и очень признателен тебе за это; и вам тоже, — прибавил он, относясь ко мне. — Я отдал все время говорить тебе, и вам подтверждать его слова. Я знаю, что после подобных случаев нельзя избежать разговоров с людьми близкими. Разговор должен был быть, и он был. Вы говорили три часа, — довольны ли вы? — Он остановился перед Ильею Никитичем и твердым, несколько суровым взглядом смотрел на него, — уделяя, небольшую долю смотрения и мне. — Я дал тебе довольно времени высказаться, — вам заявлять ваше согласие с ним. Обыкновение требует, — ведь это все делается в удовлетворение рутине, будем же соблюдать ее, — обыкновение требует, чтоб и я сказал несколько слов. Скажу их — не потому, чтобы надеялся сказать ими что-нибудь новое для вас, а в удовлетворение рутине. — Я ошибся и с самого начала сказал это; прибавить к этому — я и теперь ничего не имею, после ваших рассуждений, как до них. Я поступал честно, и потому мне не в чем раскаиваться и нечего стыдиться. В том, что случилось, нет ничего ни удивительного, ни даже замечательного. Никогда не ошибается лишь тот, кто ни к чему не стремится, ничего не делает. Смеяться легко, порицать легко, но не всегда позволительно. Таково мое мнение. — Едем к Желтухиным.

— Ты неисправим, Борис, — сказал Илья Никитич со вздохом.

— Надеюсь, неисправим, по твоему выражению; неизменно верен своим правилам, по моему.

Илья Никитич и я, мы остались тогда убеждены, что Серафиме Антоновне и Борису Константиновичу нечего было скрывать; что они «говорили, и только». — Но я уже сказал перед описанием катастрофы, что теперь я не знаю, что было между ними в продолжение двух недель, прошедших между сценою, когда Серафима Антоновна сказала, что ненавидит мужа, и испугалась своих слов, оставшись одна, — и между тем вечером, когда Борис Константинович отправил свое письмо.

Неправдоподобно, чтобы Борис Константинович написал это письмо без rendez-vous и всей их принадлежности. Так думал и Илья Никитич. Но Илья Никитич принужден был отказаться от этого мнения, и мне также казалось, что Борис Константинович смастерил свое письмо при совершенно таких отношениях, какие выказались нам «как на ладони» из апологии «млекопитающего Дронт-Дуду». Но тогда мы не знали сцены негодования на мужа, после которой была послана записка «забудьте!» Натурально предположить, что за такую сцену должны были следовать другие, дававшие Борису Константиновичу основание думать, что Серафима Антоновна готова жертвовать для него многим. И по всей вероятности, Борис Константинович, выставя себя круглым дураком в этом деле, одурачил Илью Никитича и меня. Меня, — это, пожалуй, не было бы особенным мастерством; но Илью Никитича — это штука трудноватая. А впрочем, кто ж его знает, Бориса Константиновича? — Он был тогда способен и на то, и на другое: он был способен и написать письмо без всяких оснований; был способен и разыграть самую тяжелую для него роль, не моргнув. Решительно, не умею сказать, то или другое было на самом деле.

Думаю, впрочем, что он разыграл роль. Если так, он сделал то, чего никто не мог бы сделать: совершенно уничтожить всякое сомнение о невинности женщины во всех, до кого доходил слух о скандале. Величайшие мерзавцы и мерзавки искренно говорили: «она чиста; он дурак»; даже легкая тень, какую набрасывает на имя дамы обыкновенное кокетство, какая лежит, как легкий вуаль, на именах почти всех дам в сплетнических кружках, которая была приобретена и Серафимою Антоновною за прежние ее кокетничанья с другими, — даже эта тень надолго была уничтожена сиянием ее невинности в глупой проделке Бориса Константиновича. — «Он дурак, она чиста»; — «чиста», «чиста», этим тверждением долго были заглушаемы всякие сплетни о ней за прежние и за новые легкие шалости.

А твердили «чиста» потому, что этим необходимо пополнилось «дурак», — чтобы признавать его дураком, необходимо признать ее чистою. А невозможно было не признавать его круглым дураком.

И не только я, Илья Никитич также был тогда совершенно убежден, что сплетники и сплетницы не ошибаются, сваливая всю вину исключительно на него. — Очень может быть, что они и не ошибались, что он и действительно был в этом деле истинным *doctor angelicus seraphicus* *, млекопитающим Дронт-Дуду, каким нашел его Илья Никитич, — очень и очень может быть, — кто ж может поручиться за то, что дикость фантазий такого господина не могла действительно перейти всякую границу правдоподобия.

Для меня было несомненно, что от такого человека надобно ежеминутно ждать новой дикой истории, и не всегда же счастье будет так милостиво, чтобы его фантазии лопались без беды для него и для той женщины, которой он благоволит давать роль в них. — Я выразил это соображение Илье Никитичу, когда мы ехали с ним к Желтухиным. Илья Никитич выразил надлежащее удивление к моей сообразительности, пожалел, что во время езды по скверной мостовой неудобно встать и поцеловать меня в маковку, и сделал с своей стороны три-четыре замечания, которые тогда показались мне не основательны, — одно кажется обидно и теперь, — и едва ли справедливо, а с другим я скоро должен был согласиться; их я приведу к тем фактам, которыми они подтверждались; а то замечание, которое, по моему мнению, до сих пор не подтверждается фактами, состояло в том, что Илья Никитич выразился обо мне так: «Эх вы, переметная сума!» — во всяком случае не деликатно так обижать человека; это нехорошо. Что человек смиренный и безответный, ты уж и обижать его?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Новая история, имеющая над прежней то превосходство, что прямо так и начинается с катастрофы, между тем как прежняя только уже заканчивалась катастрофою, и что новая катастрофа совершается с успехом и плодотворностью, между тем как прежняя не удалась и не принесла плодов

Борис Константинович оказывается применившим к себе изречение мудрых старцев и стариц земли русской: «Чем ушибся, тем и лечись!»

На вечере у Желтухиных Борис Константинович был скучноват, уныл, даже очень сильно. Потом несколько дней мы не ви-

* Титул, применявшийся к выдающимся ученым. Doctor — учитель, angelicus — ангельский, seraphicus — серафимский, высший.

делись. Когда он зашел ко мне дней через пять, шесть, я ожидал, что замечу в нем следы грусти, — нисколько! Он был в обыкновенном настроении духа, лучше обыкновенного. Что ж это? — Хоть и мудрец, но все же человек, а не камень: не следовало бы так скоро сбежать с тебя этому расстройству, как воде с гуся. Он тут же разрешил это мое недоумение. Поговорив о деле, мы стали болтать. Я вклеил какую-то шутку над его «серафимским промахом», — он отвечал: «Взгляд ваш и Ильи Никитича, вероятно, очень основателен; но не все разделяют его, и за страдание, которому подвергла меня ошибка в характере одной женщины, я вполне вознагражден сочувствием другой»¹⁵.

Сказав эти слова тоном, не лишенным торжественности, Борис Константинович остановился, несколько времени молчал, произнес с тихим пафосом: «Да, я вполне вознагражден», и уж окончательно замолчал. Я, увидев, что предмет истощен, заговорил опять о прозаическом деле, по которому Борис Константинович зашел ко мне.

Ясно: опять влюбился, опять нашел женщину с возвышенною душою, опять разложил огонь, чтобы заварить кашу. Остается только желать, чтобы не слишком сильно обожгли себе губы ею он и та, которую он приглашает вкушать эту кашу.

Через неделю я, зашедши однажды поутру к Борису Константиновичу, нашел у него гостью, молодую девушку. — «Дело житейское, обыкновенное для всякого другого, — но не для вас, Борис Константинович, — подумал я: — что ж это такое, Борис Константинович? Нашли сочувствующее вам существо с возвышенною душою, симпатия этого существа вполне вознаграждает вас за ваши страдания от вашего нелепого фарса с Серафимою Антоновною; а между тем, приглашаете к себе гостью; так не следовало бы делать человеку с вашими принципами».

Девушка при моем появлении встала, взяла шляпку и хотела надеть ее, собираясь уйти. — «Зачем же, кузина? — сказал Борис Константинович: — он нам не помешает и, вероятно, не будет сидеть долго: он заходит не надолго, только по делам; останьтесь и позвольте представить вам моего хорошего знакомого» — он назвал мою фамилию. Девушка положила шляпку, протянула мне руку, — в такой крайности, я взглянул на нее: без крайности я не поднимаю глаз ни на какое лицо, не только женское, но и мужское, я в этом нелюдим к обоим полам, и более смотрю на третий пол, деревянный, а иногда на нижнюю часть стен. Итак, девушка положила шляпку, подала мне руку и села.

«Так вот что, это родственница, — и я совершенно напрасно подсмеялся в мыслях над вами, Борис Константинович» — это при словах «кузина» и «позвольте вам представить его», — а когда она протянула мне руку и поэтому мне пришлось взглянуть на нее, то я увидел, что первое мое предположение и могло

родиться только от моего обычая не смотреть без крайней необходимости на тех, кого я вижу: это была скромная девушка порядочного общества. Я мысленно извинился перед нею в оскорблении, которое, тоже мысленно, нанес ей, переговорил с Борисом Константиновичем о деле, по которому зашел к нему, ушел и забыл о встрече, которая при родстве гости с Борисом Константиновичем не представляла ничего особенного. Кузину Бориса Константиновича звали Лизавета Антоновна. Я не знал тогда, что у Серафимы Антоновны есть сестра Лизавета; плохо помнил и то, что отчество Серафимы Антоновны — Антоновна; а хоть и помнил, то очень нужно соображать, кто кузина, виденная мной у Бориса Константиновича, — всякая кузина может запросто бывать иногда у кузена, свет позволяет это; я забыл думать об этой кузине.

Забыл, но не надолго: Борис Константинович потрудился, чтобы я вспомнил о ней и призадумался о ее судьбе. Зашедши ко мне через несколько дней, он спросил меня, как понравилась мне его кузина. Я сказал, что, вероятно, неглупая и хорошая девушка, сколько я могу судить по нескольким словам, которыми обменялся с нею. Ободренный моим благоприятным отзывом, он начал хвалить ее с горячностью, которой видеть в нем я не привык. Кузина, — что ж, это очень может несколько не мешать быть влюбленным в нее. Уж не она ли существо с возвышенною душою, которое своею симпатиею вознаградило его за разочарование в Серафиме Антоновне? Да уж и не сестра ли она ей? — На этот раз я не ошибся.

II

Папаша и мамаша Серафимы Антоновны и Лизаветы Антоновны или: в чем состояли утешения и в чем состояло прискорбие Прасковьи Филипповны* Дятловой

Впоследствии, когда я должен был несколько раз видиться с Лизаветой Антоновной по случаю приключений не совсем обыкновенных, я узнал от Ильи Никитича очень подробно, кто она, что она, какого родопроисхождения, — а потом сподобился видеть и виновников её бытия. Виновники ее бытия были, как я догадался, те же самые, как и виновники бытия Серафимы Антоновны. Виновница бытия этих двух сестер, не сходных между собой во многом, но сходных по тому, что обе выражали сочувствие к возвышенным стремлениям Бориса Константиновича, хотя опять сочувствие неодинаковое и с результатами неодинаковыми для них, — итак, виновница бытия этих двух сестер не

* Далее Прасковья Филипповна именуется Софьей Филипповной — *Прим. ред.*

произвела на меня эффекта, а виновник — производил сильный эффект не на меня одного, а и на всех выдавших его.

Антон Владимирович Дятлов служил экономом или казначеем в каком-то ведомстве, имевшем много построек, поправок, подрядов или поставок, которыми он заведывал, а потому при невысоком чине надворного советника имел хороший доход, жил очень недурно и, кроме того, успел купить в Коломне дом, стоивший тысяч 60. Конечно, такое хорошее и спокойное место [он мог получить] только при благосклонности своего непосредственного начальника, с которым и был в тесных отношениях по частным денежным и по служебным делам. А из этого само собой следует, что он пользовался уважением в кругу и таких сослуживцев, которые были много выше его чином. По вторникам, которые завелись у него лет пять тому назад, когда Серафима Антоновна стала невестою, у него собиралось многочисленное общество записных и коренных чиновников из его сослуживцев; бывали и молодые люди, — то есть женихи, — в те две зимы, которые Серафима Антоновна была невестою; стали бывать опять, с прошлой зимы, когда стала невестою Лизавета Антоновна, которая хоть и не слыла хорошенькою, но имела такое же приданое, как и ее сестра, — по слухам, 20 тысяч. Притом же, сыновей у Дятлова не было, следовательно, дочери и наследницы всему. Итак, человек неблистательный, — пожалуй, и недалекий, Антон Владимирович, несомненно, был не идиот, — и вот поэтому производил (и производят) изумляющий эффект его стоячие глаза своею совершенно круглотою и выражение лица своею неподвижностью, — если можно назвать выражением лица тупейшее отсутствие всякого выражения: он смотрел, говорил совершенно как автомат, — вы видели перед собою болвана, между тем как знали, что этот человек не очень глупый, — недалекий, но не совсем же отъявленный дурак. Это производило такой эффект, что разве при десятом свидании вы переставали мучиться вопросом: отчего такое необыкновенное лицо у очень обыкновенного человека? Идиотская неподвижность полного бессмыслия в лице и взгляде Антона Владимировича была результатом его прежней службы в очень малом чине в постоянном, очень близком присутствии важного начальника. Целое утро Антон Владимирович стоял навтыжку, ожидая приказаний, шел, передавал приказание кучеру или повару, лакею или швейцару, и через пять минут опять был перед начальником, и стоял навтыжку, устремив на него глаза в неподвижном ожидании нового приказа; простояв таким образом лет 15, от 20 до 35, он получил в награду место, которое и теперь занимал, и навсегда сохранил сформировавшееся в те годы на этой стоянке приличное ей сложение черт лица. Я даже подумывал, не покруглели ли и глаза его от этого же. Но люди, занимавшиеся естественными науками, уверили меня, что форма разреза глаз определяется формациею ко-

стей, которые в 10, 12-летнем возрасте уже получают невозможность изменять свой вид, так что, по их словам, разрез глаз не может изменяться. Итак, это был только оптический [обман]: надобно думать, что если бы смерять циркулем пропорцию ширины и длины глаза у Антона Владимировича, пропорция нашлась бы обыкновенная, — глаза его были, вероятно, не круглые, но казались так круглы, как у рыбы, — до изумительности круглы. Кроме лица, остальная фигура не была занимательная: высокий, крепкий господин с проседью, неотесанный, любящий быть в положении, похожем на вытяжку, — стоял ли, сидел, ходил ли и, вероятно, и спал ли он, все был на вытяжке.

Если начальник был доволен Антоном Владимировичем, то еще гораздо довольнее им была его жена. Софья Филипповна была полная, среднего роста дама тоже с неотесанным лицом, хозяйка неутомимая, и потому находившая бесчисленные неверности и неисправности за прислугою. Целое утро она бранилась с кухаркою, — «бранилась», потому что кухарки вообще сами умеют огрызаться, как женщины уже немолодые, пообтершиеся в житейском искусстве, — и бранила горничную, — «бранила», потому что горничные вообще бывают поплоче кухарок в огрызательстве, оттого что помоложе. А впрочем, Софья Филипповна была женщина не злая, даже и добрая; бранилась и бранила она от нечего делать, оттого, что мелочных неисправностей за такой прислугой всегда много, оттого, что она привыкла во время стоянки мужа дорожить каждою копейкою, заниматься грошовыми делами, — тогда это было необходимою, от долгой привычки сохранялось теперь как удовольствие. Но удовольствие этого занятия поутру не имело бы и десятой доли того интереса, какой теперь имело для Софьи Филипповны, если бы не доставляло материалов для отдыхающего препровождения времени по окончании утра: всякий труд получает свой вкус только оттого, что дает материалы для отдыха, — материалы, собранные поутру, и услаждали отдых Софьи Филипповны. Вот в этом-то отношении Антон Владимирович был образцовым мужем: по своей неспособности моргать и двигаться, он по возвращении с должности, начиная с начала обеда, не моргая и не двигаясь, слушал рассказы и жалобы Софьи Филипповны столько часов, сколько ее душе было угодно: Софья Филипповна тараторила о прислуге и хозяйстве, Антон Владимирович сидел, уставив на нее свои круглые глаза, и слушал. Можно сказать, что мало на свете таких счастливых жен, как Софья Филипповна.

Но не каждый же вечер проходил только в этом. Как бы ни был муж достоин любви жены, все-таки надоест вечно тараторить только все мужу да мужу. Гости по вторникам были гости более или менее парадные, — они были удовлетворительны для общественного честолюбия Антона Владимировича и Софьи Филипповны; но для жизни души и сердца нужны были Софье

Филипповне отношения более теплые — и потому у ней [было] несколько приятельниц, разделявших ее чувства. Прислуга составляла важную материю и в этих беседах, отогревающих душу, но главным предметом их была, разумеется, современная история — «живые вопросы дня», по ученой терминологии, — в форме биографических исследований о всех знакомых в лицо ли, по наслышке ли, чиновниках и еще больше чиновницах от IV до X класса гражданского и военного ведомств, — это, конечно, обыкновенно называют сплетнями, — но напрасно: сплетнями занимаются немногие, зложелательные люди; у обыкновенных людей, не злых, это не сплетни, а просто болтовня, тараторство, жидкое повторение того, что доставляется нехитрым людям сплетнями хитрых, которых даже и не бранят за сплетни, пользуясь этими материалами почти по невинности душевной, по простоте, от бессмыслия и от нечего делать, и разводя этот жгучий спирт огромнейшим количеством чистой воды вздорных и невинных пустяков.

Если, например, сплетня говорит, что Анна Ивановна Платонова имеет любовника, то в компании Софьи Филипповны этот предмет занимал только четверть часа, а беседа о Анне Ивановне Платоновой продолжалась три часа, остальные одиннадцать четвертей были заняты рассказами о том, какая квартира у Анны Ивановны с мужем, какая мебель, в какой лавке куплено то зеркало, в какой лавке куплена шуба мужа Анны Ивановны, хорошо ли полотно в той лавке, где вчера купила себе ситцу Анна Ивановна, и не линючий ли этот ситец, и о том, что кухарка Анны Ивановны третьего дня была пьяна и оттого испортила щи, которые большая мастерица варить. Какие это сплетни? Это просто болтовня о вздоре, в которую попадают и сплетни, как тараканы во щи, у всех поваров и кухарок от Архангельска до Астрахани; а разве справедливо будет сказать, что русские питаются тараканами? тараканы — помилуйте, это мерзость, кто захотел бы есть? — а так, глотают по недосмотру, — это точно, бывает каждый день в каждом доме от роскошных чертогов до скромных хижин.

Софья Филипповна была не злая и не сплетница, а только тараторка и глупая да и неотесанная женщина, — совершенная ничтожность, но даже «добрая», если ничтожеству могут принадлежать какие-нибудь свойства, — по гегелевской философии, «ничто» — das Nichts — имеет множество предикатов и свойств, и это совершенная правда. Кроме предиката хорошей хозяйки, тараторки, верной жены, Софья Филипповна имела, как видим, предикат женщины счастливой. Но как нет на свете человека безусловно счастливого, то Софья Филипповна имела и свою долю огорчений в жизни, как мать. Ясно, что дело пойдет о ее младшей дочери. — Точно, только о ее младшей дочери: старшая дочь, Серафима Антоновна, только радовала ее и когда была

девушкой, и теперь в замужестве, — хороша собою, держала себя как следует невесте, теперь держит себя как следует даме. Но младшая дочь, Лизавета Антоновна, не удалась.

До недавнего времени Софья Филипповна огорчалась только тем, что Лизавета Антоновна не в сестру лицом: нет ни румянца в щеках, ни блеска в глазах, ни роскошной груди, ни полных плеч, — ничего привлекательного для женихов. И точно, не по одной своей неотесанности Софья Филипповна была недовольна наружностью дочери: самые ревностные обожатели блондинок не могли сказать в похвалу Лизавете Антоновне ничего, кроме: «у ней довольно приятное лицо, хотя правда, что она не из числа хорошеньких». Но это огорчение было еще не велико: приданое есть, не засидится в девках. Не составит себе такой отличной партии, как старшая сестра, красавица, но найдется и для нее хорошая партия. Точно, нашлась; но как всякий читатель ждет, так и вышло: огорчительная для матери неприятность, и по тому самому обстоятельству, которое предполагает читатель и которого никак не предполагала Софья Филипповна, натурально, не читавшая тогда этого романа, который тогда и не был написан и где все это обстоятельство прописывается теперь на следующих двух-трех страницах, с ясным подходом к нему в предыдущих строках и страницах.

Наклеывались хорошие женихи, проявился даже и очень хороший, какого нельзя было надеяться по некрасивому лицу невесты: правитель канцелярии, еще очень молодой человек, — лет 25, не больше, очень солидный, и такой, что пойдет вперед; искательный и мягкий, уклончивый и хитрый, — один порок: не говорит по-французски, — (я не признаю этого пороком, потому что сам не говорю; да притом и не служу; но по петербургской службе это, точно, большой изъян, и потому порок), — значит, простым генералом и до старости, до тайного советника не может дойти; а старший зять дойдет. Но есть в нем и авантаж над старшим зятем, — по денежной части много ловчее: имеет хорошие обороты и думает жениться для того, чтобы приданое пустить в обороты. Покупает и перепродает, — вот его обороты. Теперь по мелочи: на 2, на 3 тысячи: на аукционах, а больше по случаю, по «Полицейским ведомостям» и по знакомству покупает вещи и продает. Для этого имеет поместительную квартиру. Продает по знакомству, а больше тоже по газетам; объявления печатает. Ловкий человек. С Лизаветы Антоновниным приданным мелочь эту бросит и станет домами торговать. Но благороднейший человек, и не пьющий: вина ни капли не берет в рот. Фамилия — Соболев. — За другими женихами Софья Филипповна не слишком гналась; но за Соболевым она ухаживала. Соболев уже с полгода бывал постоянным гостем по вторникам, стал бывать и по другим дням; явно, хочет сватать; но ему не к чему было торопиться, и проходил месяц за месяцем; подразумевалось, что

он жених, но разговора об этом не было, потому что незачем иметь разговор прежде времени. — Лизавета Антоновна, очень понимавшая, что он хочет сватать ее, сначала была ласкова с ним, будто не имела ничего против того, чтобы выйти за него; но потом стала делаться холодна к нему, холоднее и холоднее. Мать еще не замечала этой перемены, но Соболев заметил и стал бывать реже. Тогда заметила и мать, стала делать выговоры Лизавете Антоновне. Лизавета Антоновна слушала выговоры, но не исправлялась. Соболев посмотрел, посмотрел, да и вовсе перестал бывать, а месяца через два до Софьи Филипповны дошел слух, что он думает сватать другую невесту. Она не мало бранила дочь за пренебрежение к такому хорошему жениху; но и не очень много бранила: думала, что беда не велика, найдутся другие женихи. Они находились; но Лизавета Антоновна с каждою неделею становилась холоднее к молодым людям, показывавшимся в их доме с мыслью сватать ее, и один за другим отходил прочь, видя, что от неприветливой девушки нечего ждать, кроме отказа.

Теперь, — в то время, как происходило превращение Бориса Константиновича в млекопитающего Дронт-Дуду, — Лизавета Антоновна держала себя так уж с год, и Софья Филипповна постепенно дошла до полного отчаяния видеть младшую дочь замужем. Она и побранивала дочь, и ласково говорила; но ни от ласки, ни от брани ее дочь не делалась приветливее к женихам. Думала Софья Филипповна, не забилась ли в голову дочери какая-нибудь любовь; но смотрела — нет; и Серафима Антоновна смотрела, тоже подтверждала: нет. «Да, что ж это ты такая бесчувственная к молодым людям?» спрашивала Софья Филипповна дочь. — «Что ж мне делать, маменька, если никто из них не нравится мне?» — Почему никто не нравится — Софья Филипповна не могла понять, а странная бесчувственность молодой девушки к молодым людям так и оставалась загадкою для матери. Серафима Антоновна понимала и объясняла матери: «у Лизы, маменька, холодный темперамент»; но что такое темперамент? — «характер, маменька». Но Софья Филипповна, хоть и была глупее Серафимы Антоновны, смотрела на это, по моему, правильнее: «это ненатуральная вещь, Серафимочка, чтобы в молодой девушке был такой характер к молодым людям, это, должно быть, болезнь». Это-то поняла Софья Филипповна; но не приходило в голову ни ей, ни Серафиме Антоновне, что причина болезни Лизаветы Антоновны в Борисе Константиновиче, как уж давно знает читатель.

Лизавета Антоновна часто бывала у сестры; да и Борис Константинович иногда бывал у Дятловых в этот год, — после того, как служба перестала портить его. Он не обращал большого внимания на Лизавету Антоновну, как не обращал большого внимания ни на саму хозяйку, ни на кого из бывавших у нее дам

и девиц. Но все-таки он каждый вечер, когда бывал у Чекмазовых, проводил большую часть часов в женском кругу, и толкуя половину времени, — само собой разумеется, — пропагандировал. Он не мог не пропагандировать. Кто его слушатели или слушательницы, — интересно ли, приятно ли им слушать его рассуждения, ему до этого не было никакого дела: уста говорили от избытка сердца и потому не могли молчать. Но вообще женское общество, встречаемое им у Серафимы Антоновны, слушало его с удовольствием, как и прежде подобные общества, имевшие блонду и кружева значительно лучше. Он говорил хорошо, — менее учено, чем писал потом Серафиме Антоновне, потому что для нее, когда она стала избранницею высшего призвания, он тогда особенно возносился мыслями, потому что ведь она уже понимает, — в кругу общества профанок он говорил популярно, понимать его было можно, а он был хороший оратор; а главное, главным содержанием его тирад была свобода сердца, — а когда же женщинам не приятно слушать речи о свободе сердца? — а еще важнее этой самой главной причины интереса было то, что слушательницы могли почерпнуть из его рассуждений прекрасные слова, возвышенные мысли, самые современные взгляды, которые потом с пользой служили им в разговорах с другими. Я уже рассказывал, что Серафима Антоновна так понаучилась владеть этим языком, что очаровала самого учителя. А другие молодые люди, которые сами из вторых рук, больше только по наслышке, были знакомы с возвышенными взглядами, составлявшими содержание разговоров Бориса Константиновича с дамами, и подавно приходили в удивление, слыша такие речи от дамы или девушки, с которою начинали любезничать. Многие из приятельниц Серафимы Антоновны были обязаны частью своих побед над сердцами слушанию бесед Бориса Константиновича.

Значит, его беседы приносили пользу его слушательницам. Но ни одной из слушательниц не принесли они столько пользы, как Лизавете Антоновне. Сначала эти мысли казались ей странны, потом стали нравиться, скоро она, хоть и была застенчива, стала сама заговаривать с Борисом Константиновичем. От этих-то разговоров и произошла, как давно знает читатель, перемена, огорчившая Софью Филипповну. — Понятно, как было это. До сближения с Борисом Константиновичем Лизавете Антоновне казалось, что все так и должно быть, как она видела вокруг себя, что и молодые люди, которых она видела в своем доме и у сестры, такие молодые люди, каким следует быть молодым людям, и что почему ж ей не принять готовящуюся быть предложенной руку не того, так другого из них. Его рассуждения постепенно научили ее видеть всех их в другом свете. Большую часть из них он прямо называл невеждами, пошляками. Несколько времени щадил Соболева, потому что ему было сказано Серафимою Антоновною, что Соболев не ныне — завтра будет объявлен же-

ником Лизаветы Антоновны. Но скоро рассудил, что молчать перед Лизаветой Антоновной о Соболеве значит поступать бесчестно, значит оставлять девушку в заблуждении, которое будет гибельно для нее, — заговорил и о Соболеве, как о пошлаке. Но уж это было почти что и лишнее: Лизавета Антоновна уж и сама успела недурно разобрать Соболева по принципам Бориса Константиновича.

— Послушайте, однако, хорошо ли вы делали, — прервал я Бориса Константиновича, когда, через много времени после того, выслушивал от него эту часть истории его отношений к Лизавете Антоновне: — вы отнимали у девушки возможность найти себе удовлетворение в том обществе, которое окружало ее, — отнимали у нее возможность устроить свою жизнь. Позвоительно ли это?

— Если принять ваш принцип, то надобно будет отказаться от всяких забот о нравственном или умственном развитии людей, — спокойно отвечал он: — всякое развитие ведет к недовольству тем, что кажется удовлетворительно до развития.

Я чувствовал тогда, и думаю теперь, что он был не совсем прав. Но и тогда не нашелся, и теперь не знаю, чем опровергнуть его аргумент. Быть может, он прав в принципе; быть может, надобно только быть мягче в применении принципа. Или, быть может, мы не имеем права показывать истину человеку, находящемуся в таком положении, что нет вероятности, чтоб истина послужила ему в пользу? — Это часто думается мне, когда я думаю о женщинах:

К чему невольнику мечтания свободы?

когда нет у них возможности быть счастливыми, отвергнув пошлость, пусть остаются в неведении, что это пошлость, — не так ли? Не надобно ли, прежде чем просвещать их, подождать, чтоб открыта была им возможность пользоваться знанием на счастье себе? — Но нет, это аркадская фантазия, опровергаемая историею: никогда никакой класс людей не приобретал улучшения своей жизни иначе, как силою своего недовольства прежним положением, силою собственного стремления к лучшему. А чтобы стремиться к лучшему, завоевать его, надобно прежде узнать его. Так, большая часть женщин, делающихся порядочными, делаются порядочными в убыток своему довольству своею судьбою, — часто в погибель своему счастью. Но это только частный случай общего исторического закона: все хорошее настоящее приобретено борьбою и лишениями людей, готовивших его; и лучшее будущее готовится точно так же. — Так; и вероятно, — какое ж «вероятно»? — несомненно, не может быть иначе. А все-таки жаль, что не может быть иначе. А впрочем, всегда и во всем бывают исключения. Например: жареные утки не летают; как общее правило, это несомненно; но бывают изредка слу-

чай, что жареные утки летают со стола на пол, — иногда это бывает.

Я вспомнил об исключительных случаях, бывающих иногда с жареными утками, потому что из всего съестного больше всего на свете люблю жареных уток; а о съестном вспомнил потому, что оно одно уже было бы в состоянии предотвратить в Софье Филипповне всякое подозрение, что причина ее огорчения — Борис Константинович. И без съестного ей бы не пришло в голову подозревать его: женщина простая, полуграмотная, она даже не знала известной всем фразы: «голова набита романтическими мечтами». — Серафима Антоновна очень хорошо знала эту фразу, но по себе знала, что эти мечты совершенно безвредны — это не вредит женщине, напротив, это дает ей хороший тон. Борис Константинович ни для кого не приносит ничего, кроме удовольствия и пользы. Какой же вред от него может быть Лизавете Антоновне? — Мог бы быть вред, если б он влюбился в нее; мог бы набедокурить. Но он не влюблен ни в кого здесь (в гостиной Серафимы Антоновны), — а если в кого влюбится, то в меня, — думала Серафима Антоновна, и точно, не ошиблась: когда Борис Константинович влюбился, то влюбился в нее. Следовательно, Серафиме Антоновне нечего было думать, что Борис Константинович чем-нибудь может быть запутан в судьбе Лизаветы Антоновны, которой он очень мало занимался и которая сама была девушка скромная, даже до излишества. А тем еще меньше могла думать на Бориса Константиновича мать Серафимы Антоновны. Борис Константинович был «брат» Серафимы Антоновны, Лизавета Антоновна — сестра Серафимы Антоновны, Борис Константинович был, значит, свой человек, родня. Бывал он у Дятловых не часто, но это встречается, что родня бывает у родни не часто, а все-таки она родня, так с ней держат себя, и она так себя держит. Хоть и нечастого гостя, Бориса Константиновича не занимали как гостя; с ним не сидели, когда было некогда; для него не выносили угощения — он сам брал из буфета кусок булки и отрезывал себе ломтик ветчины (ветчина была хорошая, итальянская, — Софья Филипповна сказывала ему, что этот сорт продается по 90 коп. фунт, а она умеет покупать по 75, даже по 73), когда ему хотелось закусить, — как же тут можно было бы думать о вредном влиянии его на Лизавету Антоновну? Да Софья Филипповна и не знала, что существует «вредное влияние», она знала только, что мать должна смотреть, чтобы «развращенные молодые люди» не учили девушек выходить из повиновения отцу-матери. Но развращенные молодые люди гуляют по трактирам, пьянствуют, — вот как Булыгин, у которого и рожато пьяная всегда, у скота — так ведь Булыгина не только что Антон Владимирович с Софьею Филипповною, и канцелярские-то хорошие не принимают в свое знакомство. Андрей Фе-

дорович делает самые хорошие отзывы о Борисе Константиновиче, что, говорит, умнейший человек, только с придурью, что вышел в отставку, но, говорит Андрей Федорович, если захочет поступить опять, примут с радостью. — Что ж, что с придурью, — умные люди почти все с придурью, — даже сам Андрей Федорович взяток не берет: «это, говорит, повредило бы мне; это, говорит, после. — После, конечно; но какой же был бы я теперь». С придурью и он, потому что умный человек.

Вот как просты были понятия Софьи Филипповны, что она даже не могла понять разницы между службою своего мужа и службою своего зятя. Поэтому она не могла же думать на Бориса Константиновича; да и вообще-то мало думала о нем. Нечего об нем думать, потому что она маловато его и видела, хоть он и родня: у них он бывал редко; у Серафимы Антоновны не бывала мать по вечерам, когда у дочери бывали посторонние: какая она компания молодому светскому кругу. — Родня, да еще мало когда видишь, значит и не в примету человек. И когда произошел разрыв у Бориса Константиновича с зятем и старшей дочерью Софьи Филипповны, Софья Филипповна очень долго и не вздумала: «что это Борис Константинович давно не заходил к нам?» — спросила Серафиму Антоновну; Серафима Антоновна сказала: «он поссорился с Андреем Федоровичем», — тем разговор и кончился, и Борис Константинович был забыт Софьею Филипповною.

III

Так как новая катастрофа, очевидно для читателя, очень достаточно подготовлена, то она и не замедляет воспоследовать, с такой плодотворностью, что к рассказу о ней очень будет итти эпиграф:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно ¹⁶.
Некрасов

Новая катастрофа началась тем, что разрыв, произошедший из прежней, остался для Лизаветы Антоновны не так незаметен, как для ее мамы.

Через два дня после огорчительного разочарования в возвышенности чувств Серафимы Антоновны, Борис Константинович получил письмо:

«Добрый Борис Константинович, что такое произошло между вами и сестрою, скажите мне? — Когда я вчера приехала к ней и упомянула о вас [она сказала мне], что я не должна более проносить вашего имени, что нас и вас теперь разделила бездна, что вы не оправдали ее доверия и расположения к вам, что вы поступили с ней очень дурно, едва не поссорили ее с мужем. Что

это значит? Но все равно, что бы это ни значило, это убивает меня. Итак, я никогда более не увижу вас? Я не могу переносить этой мысли. Борис Константинович, неужели я никогда не буду более видеть вас? *Л. Д.*»

«Почему ж нам не видеться, Лизавета Антоновна? Для меня это было истинным удовольствием: я всегда был так расположен к вам. — Ваша сестра говорит правду: она и я, мы разошлись навек. Она думает, что я не оправдал ее доверия; я нахожу, что наоборот: она не оправдала моего высокого мнения о ней. Но перемена моего мнения [о ней] нисколько не изменяет моего мнения о вас. Мой разрыв с нею и ее мужем не влечет за собой, как необходимости, моего разрыва с вами. Прежде я знал вас, как сестру m-me Чекмазовой; теперь вы будете для меня m-elle Дятлова. Что мешает оставаться знакомыми? — Вы свободны и в пошлом смысле нынешней цивилизации, которая применяет этот термин в особенности к некоторым положениям и некоторым людям, как будто не всякий человек во всяком положении свободен, если имеет чувство свободы. Свобода есть природное право, не утрачиваемое человеком ни в каком положении. Но вы свободна не только по закону природы, вы свободна и по закону общества. Что мешает вам продолжать ваше знакомство со мною, если это вам нравится? — Я прошу вас об этом. Я не могу бывать у вас, — но почему вам не бывать у меня? Я отлучаюсь из дому на уроки по понедельникам, средам и пятницам. В остальные дни я всегда дома, — и моя рука всегда будет [рада] позвать вашу. Прошу вас об этом. *Б. Алферьев*».

Письмо Лизаветы Антоновны было получено Борисом Константиновичем по городской почте во вторник, ответ его получен Лизаветою Антоновною по городской почте в среду; в четверг в половине 12-го Лизавета Антоновна вошла в комнату Бориса Константиновича и с той поры навещала его очень часто, — все чаще и чаще, — скоро почти каждое утро из четырех в неделю, когда он бывал дома. У Лизаветы Антоновны было несколько подруг, которых она посещала гораздо чаще, нежели они ее, и семейства которых не были знакомы с ее матерью, потому что какая же дама светского круга может быть знакома с Софьею Филипповною и какая приятность могла быть Лизавете Антоновне выставлять взгляду подруг своих папашу и мамашу? Она понимала, что подруга будет потом смеяться над ними, и самой подруге было бы неловко с ними. Благодаря этому Лизавета Антоновна, отправляясь к своему молодому другу, могла совершенно безопасно говорить матери, что едет к Наденьке Бороздиной, или Александрине Волковой, или Евдокии Донцовой, — и не только матери, даже сестре не приходило в голову ни тени подозрения об истине.

Сначала Лизавета Антоновна бывала у Бориса Константиновича по утрам; потом они стали предпочитать утру вечер; и натурально и основательно: утро создано для дела; для отдыха и развлечения в дружеской беседе — вечер. Сначала при этих вечерних посещениях Борис Константинович соблюдал относительно Лизаветы Антоновны некоторые формальности, — собственно, только одну формальность: не уходил из дому, когда ждал ее. Потом и эта стеснительная церемонность устранилась сама собою: Лизавета Антоновна, уезжая в прошлый раз, сказала: «я буду послезавтра», — а вот и не послезавтра, а завтра же ей скучно сидеть вечер дома, — лучше будет отправиться к Борису. Но дома ли он? — Посмотрим, — если нет, она вернется домой, или в самом деле проедет к Юлии Ефремовой. И что ж, ведь как удалось! — Он был дома, и он был очень и очень рад. — «Когда увидимся опять?» — «Послезавтра». — И опять соскучилась завтра же, — поехала к нему. — «Дома Борис Константинович?» — Нет, — отвечала хозяйка: — да что ж вы идете назад, барышня?.. Вы бы подождали его: может, он скоро придет домой. — И то правда, почему не подождать? Разве дома или [у] Машеньки Залетаевой будет веселее? Нет, эта комната так приятна, так мила, что здесь лучше. — А кстати, вот и роман Альфонса Карра, еще не читанный ею. Прекрасно. — И в самом деле, вышло прекрасно: она не видела, как пролетело полтора часа: роман был занимателен; — а еще занимательнее ее мечты, потому что она скоро замечталась; — а в 9 часов Борис возвратился и очень похвалил ее за то, что она дождалась его; он вернулся было домой только по дороге, затем, чтобы взять сигар, — он с утра не был дома, и у него не оставалось уже ни одной сигары, — и отправиться к Сапожникову, у которого ныне собираются несколько человек, — но с ней ему приятнее, нежели с ними, хоть и с ними тоже приятно; — он был очень рад. — «Нет, нет, Борис, пора: половина 12-го, — это ужасно! — я приеду домой не раньше 12-ти, — это ужасно! — и зачем же тебе (они уже давно говорили друг другу «ты») не отправиться к Сапожникову, — собирайся». — Ну, нечего делать, отправляюсь к Сапожникову, если ты не остаешься больше. — «Нет, нет, мне уж поздно!» — И правда, для нее уж поздно, а ему ехать к Сапожникову еще не поздно: у Сапожникова просидят до 3 часов. — «И как кстати: ведь мне ехать к нему почти мимо вас». — «Да? Как это хорошо!» — Она сходит у своего подъезда, он едет к Сапожникову. Прекрасно.

И вот, однажды вечером Лизавета Антоновна, не застав дома своего друга, сидела в его комнате; прилегла; сначала читала, потом задумалась, — опять читала, и опять задумалась, и уж надолго и так увлекательно, крепко задумалась, что вздрогнула, когда вошел Борис Константинович.

— Как я замечталась! — сказала она: — и о чем я мечтала,

знаешь ли, Борис? — Как здесь мирно, — как я здесь спокойна, — не слышу я ничьей брани с прислугой, не вижу никого, кто мне не нравится, никто не ворчит на меня; — не вышла бы отсюда, осталась бы здесь.

— Ты думаешь, Лиза, что это было бы хорошо? — Может быть. — Борис Константинович стал ходить по комнате.

— Итак, ты думаешь, Лиза, что тебе лучше было [бы] остаться здесь? — начал он опять минут через пять: — почему ж это невозможно? Я не вижу тут *никакой* невозможности.

И как все это быстро шло, — прелесть: разговор «не вышла бы отсюда, осталась бы здесь» — «я не вижу тут *никакой* невозможности» — происходил не больше, как недель через пять после ответа: «почему вам не бывать у меня?» — Я тогда не знал ничего этого — я узнал это уж гораздо позднее, — и расскажу потом, по какому случаю узнал. А Илье Никитичу пришлось узнать на другой же день.

IV

Илья Никитич оказывается человеком, который тоже может рассуждать основательно

Борис Константинович не отправился в тот же вечер к Илье Никитичу, хотя именно в размышлении об этом и провел пять минут своей прогулки по комнате перед ответом: «я не вижу тут *никакой* невозможности»: вечер гораздо натуральнее было употребить на продолжение разговора с Лизаветою Антоновною.

Но рано на другое утро Борис Константинович вошел к Илье Никитичу.

— Илья, у меня к тебе важная просьба. Достань мне займы 500 рублей, — ныне же, если можно.

— Зачем? Расплата очень стеснит тебя. И ты получаешь не мало. Нет причин тебе делать долги. И я не хочу помогать тебе в этом. И ты знаешь, что если я могу достать денег займы, то не совсем без хлопот, — напротив.

— Я знаю, Илья, что тебе не без хлопот будет исполнить мою просьбу. Напрасно я не стал бы беспокоить тебя. Но есть важная причина, — чрезвычайный случай, — я могу сказать тебе ее, и ты согласишься, что она основательна.

— Послушаем.

— Но прежде всего: ты часто бываешь у меня?

— Почти никогда.

— Намерен был зайти ко мне ныне?

— Ни ныне, ни завтра, ни через неделю.

— Теперь отвечай мне, как честный человек: до моего при-

хода ты предполагал, чтоб у меня произошло что-нибудь особенное?

— От тебя можно ждать всего. Но, само собою, я не думал ничего; потому что вообще не очень много думаю о тебе: у меня есть много о чем думать, кроме тебя.

— Так же, как и у меня по отношению к тебе. Итак: ты нимало не предполагал, что со мною, или, вернее сказать, у меня произошел случай, который произошел. Всякие следы того, что произошло, будут скрыты мною, во всяком случае завтра. Ныне ты не намерен был у меня быть. Итак, ты никогда не узнал бы этого произошедшего у меня, если бы не услышал о том от меня самого?

— Что за предисловия!

— Ты увидишь, что это предисловие ведет к важному заключению. Но, прежде всего, логично ли оно?

— Со стороны логики — безукоризненно, как все, что ты говоришь; здравого смысла не вижу в нем, как в очень многом из того, что ты говоришь, и особенно — делаешь.

— Но логично; этого довольно. Итак, ты не будешь отрицать вывода: если я беру с тебя слово, что ты не будешь разуживать о том, что произошло у меня, — не будешь стараться узнавать больше, чем я скажу тебе, и не вмешиваться в это дело больше, нежели я буду просить тебя, — я не отнимаю у тебя никаких средств знать об этом деле больше, или вмешиваться в него больше, нежели я хочу — потому что ты без меня и ровно ничего не узнал бы?

— Так.

— Следовательно, ты можешь дать мне слово, которое я хочу взять с тебя прежде, чем стану говорить?

— Могу; и даю его тем охотнее, что мне нет никакой радости мешаться в твои дела. Но ты употребляешь такие предосторожности, как будто хочешь наполовину открыть мне, что ты делаешь фальшивые деньги, или по самой меньшей мере совершил убийство. К деланию фальшивых денег я считаю тебя неспособным, но...

— Почему знать? Не ручайся и за это; ты знаешь, что у меня свой взгляд на вещи.

— Хорошо, если я даже предположу, что ты делаешь фальшивые деньги, к чему продолжаю считать тебя неспособным, хоть ты и говоришь, что способен, или совершил убийство, к чему не считаю тебя неспособным, — серьезно не считаю, — даю тебе слово не разуживать больше, чем ты скажешь, молчать и без твоего согласия не вмешиваться.

— Я знаю тебя за человека, который держит слово; итак, могу говорить. Слушай же.

— Илья Никитич, и вы дали это слово? — прервал я, когда Илья Никитич в тот же вечер рассказывал мне эту сцену, —

дикую, как все сцены, в которых до сих пор являлся его братец, а мой добрый знакомец: — Вы дали ему это слово?

— Дал.

— С намерением сдержатъ?

— Я не говорю того, что не думаю исполнять, — холодно сказал Илья Никитич.

— Однако хорош и вы! Как же можно давать такое слово? Если б еще речь могла идти о фальшивых деньгах или убийстве, тогда вы могли бы сказать: это дело полиции, суда, а не мое. Но ведь я предполагаю, что он [мог] наделать чорт знает чего, во что полиция не может мешаться, и никто не может мешаться, потому что никто не может исправить, кроме близких, — я предполагаю, что дело идет о чести женщины.

— И я предполагал тогда-с, и вы не ошибаетесь-с: ну, так что же-с? — грубо насмешливым тоном сказал Илья Никитич.

— Ну, так как же можно давать такие слова?

— Да вы слушали, что я вам рассказывал, или не слушали?

— Слушал.

— Ведь он рассуждал правильно: иначе, как через него, я не имел никакой вероятности узнать что-нибудь о том, что он говорил; следовательно, он был вправе сообщить мне только до какой ему угодно степени и на каких ему угодно условиях то, что хотел сообщить. Скажу больше: если б он не брал с меня этого слова, я все равно был [бы] точно так же связан. Что он взял с меня слово, это была предосторожность похвальная, но лишняя, с таким человеком, как я.

— С каким это, Илья Никитич?

— С честным-с, — с прежней грубою насмешливою холодною отвечал Илья Никитич.

— Позвольте же спросить, что это такой за человек?

— Такой, к которому можно иметь доверие. — Я думал, что вам это все известно, потому что вас, вероятно, считают таким человеком, когда вам рассказывают.

— Ну, Илья Никитич, лучше не рассказывайте, — сказал я, чувствуя, что усмиряюсь.

— Нет, поздно: теперь уже должны дослушать, останавливали бы раньше. — Ну, полноте, полноте, не бойтесь, — вам — ничего такого. — Только уж, пожалуйста, мне-то выговоров не делайте, видите, не удаются.

— Так это вы шутили, Илья Никитич?

— Шутил. — Но в самом деле, что ж мне было делать? Вы рассудите сами: дело шло о чести женщины, — так; следовательно, первое условие — молчание. Правда или нет?

— Это, я вижу, вы рассудили так, Илья Никитич. — Только если так, зачем же вы-то мне рассказываете?

— Вот вы услышите, что я вам ничего и не расскажу, кроме того, что нужно, чтобы вы ничего не узнали.

Илья Никитич продолжал рассказывать мне то, что нужно было мне знать, чтобы *ничего* не узнать.

Обезопасив себя обещанием Ильи Никитича сохранить тайну той части происшествия, которая должна была оставаться тайной для него, Борис Константинович сказал, что будет жить вместе с девушкой, которая вчера переселилась к нему; что эта девушка переселилась к нему, не имея ничего, кроме того, в чем вышла из дому, что поэтому нужно сейчас же «создать ей гардероб», как он выразился, то есть купить белье, два-три платья; к счастью, дело было уже в начале зимы, и на девушке была шуба, а то понадобилось бы гораздо больше денег (как благоразумен! — подумал я: ведь успел и сообразить это, и порадоваться, что обошлось без лишнего убытка), — надобно переменить квартиру, потому что нельзя же жить двоим в одной комнате, перемена потребует расходов, надобно обзавестись своею мебелью, из этого видно, что менее как 500 рублями нельзя обойтись.

Но, — к этой части дела и относилось обещание Ильи Никитича не узнавать более, — эта девушка из семейства, принадлежащего к обществу; ее имя должно оставаться неизвестным Илье Никитичу, Илья Никитич не должен бывать у Бориса Константиновича.

— Ну, что ж вы? — опять прервал я Илью Никитича.

— Ну, что ж мне было сказать на это, кроме слов, что я достану деньги; я и сказал.

— Как, что сказать, Илья Никитич, помилуйте! Убеждать его возвратить несчастную девушку в ее дом.

— А вы думаете, он бы так и послушался? Когда это бывало от сотворения мира, чтобы урезонивания действовали на мужчину в подобных случаях?

— Ну, ехать к нему на квартиру, говорить с этою девушкой, если б он не согласился.

— Вы забыли, что я дал слово.

— Слово? Что значит слово!

— Ну вот, вы опять в ту же сторону поехали. А мы с вами уж говорили об этом, что значит держать слово — не изменять ему, значит сохранять право считаться честным человеком, достойным доверия, больше ничего.

— Сохранять право на уважение безумцев, на их доверие — лестное право, приятное право!

— Безумцев или нет, это еще вопрос; но безумцы они или нет, они люди; это видно по их фигуре и не подлежит сомнению.

— Прекрасно, Илья Никитич, — обещались достать деньги! Это единственный ваш ответ! Прелестно! — Или есть еще что-нибудь?

— Нет-с, больше ничего-с, достал деньги-с, больше ничего-с.

— Прекрасно, Илья Никитич, и вы с ума сходите! — Да что с вами сделалось?

— Ничего-с, как изволите видеть.

— Нет, я не узнаю вас, Илья Никитич, — вы такой же безумец, как они, когда помогаете безумцам.

— Оно точно-с, что по части логики вы слабоваты. Я вижу, батюшка, надобно говорить серьезно. Во-первых, положим, что он и она безумцы; что из этого следует? — То, что человек, считающий себя рассудительным, обязан стараться сохранять их доверие к себе, чтобы не загоразживать себе возможности принести им пользу своим благоразумием, когда и насколько представится случай к тому, — так, что ли? — Или это для вас темно? Или надобно бранить человека за то, что он не оттолкнул их от себя в беспомощность их безумия (когда они безумцы-то по-вашему) поздним и напрасным резонерством? — Желаете возразить что-нибудь? — Нет? — О, какой смиренный. Так, значит, можно от меня перейти к ним. Позвольте спросить вас, какое право имел я назвать их безумцами? Я не знал обстоятельств; характер дела определяется обстоятельствами. Может быть, этой девушке не оставалось ничего лучшего и благоразумнейшего, как бежать из семейства? Ведь вы ничего не знаете о ней? Что же суетесь судить?

— Илья Никитич, это такое страшное дело, навек лишит себя честного имени, что ни в каких обстоятельствах нельзя назвать этого иначе, как безумием со стороны девушки.

— Бывают всякие необходимости, сударь, — с расстановкою произнес учительским тоном Илья Никитич: — вам, вероятно, известно из истории, сударь, что бывают такие положения, когда люди справедливо и основательно считают для себя необходимостью разорвать не только связи с обществом, в чем еще может и не быть особенной беды для разрывающего их лица, но даже прерывать собственную жизнь, что уже во всяком случае потеря для лица, теряющего жизнь. Известно вам это или нет?

— Эх, Илья Никитич, ну что там известно или нет, — к чему вы это говорите-то?

— Только к тому, что не суйтесь судить о том, чего не знаете.

— Ну, с этим-то я согласен; а я думал уж, вы бог знает что говорите. Лучше будем продолжать о их-то деле. Ну, вы достали им денег, — ну, дальше.

— Ну, вот, он и поручил мне просить вас, как просил и меня, не бывать у него, и сообщить вам, почему он просит об этом, потому что если бы не сказать вам, то вы могли [бы] строить догадки, пошли бы расспросы, а теперь знаете, так и не о чем вам спрашивать, значит, и знать ни о чем не будете; — ну, и то подумал он также, что если бы не сказать вам, то вы шутя еще подумали бы, не от неудовольствия ли это какого-нибудь на вас.

«Какая заботливость о сохранении меня от огорчения подзрением, не сердится ли на меня он, — подумал я: — если бы, Борис Константинович, вы вместо этого нашли в себе хоть тысячную долю такой же заботливости о сохранении спокойствия этой бедной девушки, то было [бы] гораздо лучше. Нет; какими убеждениями ни хвастаются люди, а на деле все поступают, как те, которых сами называют пошляками. Пришла молодому человеку фантазия позабавить себя амурами, — и тащит в болото девушку совершенно так, как потащил бы поручик Кувшинников, хоть называет себя гуманистом и социалистом и рассуждает о всем прекрасном так хорошо, что приходишь в восторг от возвышенности его мыслей и характера. О, человеческая натура!

«Да, — продолжал я думать: — тоже и Илья Никитич — вот что значит самолюбие: ведь честный человек, а увлекся слабостью к родственнику, дает ему потачку. Борис Константинович есть Алферьев; и я тоже Алферьев; следовательно, Борис Константинович прав. — И ведь умный человек, а сделал глупость по увлечению словами молодого сумасброда, помог ему, вместо того, чтобы помешать, и не может согласиться, что сделал глупость, а возводит свою ошибку в принцип. Ох, человеческая натура, человеческая натура!»

Конечно, я был бы еще беспристрастнее к человеческой натуре, если бы кстати размыслил тут же и о себе: ведь то, за что я бранил Илью Никитича, — ведь уж сделал и я: я не сделал ничего, чтобы прекратить это безумие, — Илья Никитич, положим, находил, что он и не вправе тут действовать без согласия Бориса Константиновича — а ведь я не находил этого, и тоже, очень долго, не вмешивался в это дело. А Илья Никитич, считая себя связанным, все-таки успел кое-что сделать для его исправления. Я это узнал гораздо позже, но расскажу теперь, потому что мне потом было совестно перед Ильею Никитичем, что я судил его так строго, и мне не хочется, чтобы читатель долго оставался в сомнении об этом человеке, действительно честном.

V

Илья Никитич, несмотря на свою основательность в диалектике, делает то немногое, что возможно было ему сделать для поправления этой истории

Отпустив Бориса Константиновича с обещанием достать ему денег, Илья Никитич стал соображать, у кого может взять их. У кого ближе, как не у Дятлова? — «Что такое? больные в семье?» — спросил он слугу, отворившего дверь — квартира была наполнена аптечным запахом. — «Барыня очень расстроены, голову примачивают уксусом каким; и барин тоже огорчен, —

отвечал слуга: — барышня пропала». — «Как пропала?» — «Так; поехала вчера вечером, — думали к приятельнице, — да и до сих пор и гостит у ней». — «Как гостит?» — «Так, сударь: видно, приятельница-то с бородой, так очень занято показалось нашей барышне-то у нее».

«Что за дьявольщина? Неужели?» — подумал Илья Никитич: — Вчера вечером?

— Как вы изволите говорить, точно так: вчера вечером.

Дятлов был очень сильно взволнован, так что даже глаза его не поражали круглотою, а казались обыкновенными глазами опечаленного человека. Он поделился своим горем с Ильей Никитичем, как с родственником. Кроме того, что рассказал слуга, Илья Никитич узнал, что уж получено от Лизаветы Антоновны письмо, в котором она просит отца и мать не беспокоиться за нее, потому что она совершенно здорова, — говорит, что не может ни на что пожаловаться на них, что они всегда были добры к ней, но что разлука была необходимостью для нее. Илья Никитич и сам прочел письмо, — только. Ни тени неудовольствия на родных, ни тени мысли, что она в своем решении жить бог знает где, бог знает как, чувствует что-нибудь — не то, что дурное или безрассудное, а хоть неловкое.

Потужили. Но чувства сами по себе, а денежные дела своим порядком. Потужив с Дятловым, Илья Никитич сказал ему, что приехал занять денег себе; поторговались из [за] процентов, после необходимых уверений Дятлова, что у него у самого нет денег, а то он дал бы Илье Никитичу без процентов, — и что он не знает, где взять их, разве вот у такого-то из своих чиновников; поторговавшись, сошлись. Дятлов вынул деньги, сказавши, что берет это из казенной суммы, которая у него на руках и которую он должен пополнить займом у своего чиновника. Илья Никитич уехал.

Через полчаса слуга из соседнего с квартирой Бориса Константиновича трактира понес к нему записку Ильи Никитича, имевшую такое содержание: «Деньги для тебя я достал. Я дал тебе слово не быть в твоей квартире; но мне необходимо как можно скорее видеть тебя; потому жду тебя в харчевне, куда приводит тебя податель записки».

Податель записки вернулся с ответом, что нет дома того барина, к которому посылал его Илья Никитич; Илья Никитич отправил его оставить на квартире у барина другую записку подобного с первою содержания, с тою переменою, что «как возвратишься домой, тотчас приезжай ко мне, — до 4 в департамент, после 4 — на мою квартиру».

Борис Константинович приехал к Илье Никитичу уж под вечер. Он весь день искал новую квартиру себе.

— Вот тебе деньги, Борис, — этими словами начал Илья Никитич, подавая деньги Борису Константиновичу: — у кого, ты думаешь, я взял их? — У Дятлова.

Но Борис Константинович холодно выдержал его взгляд, не моргнув и не пошевелившись. Другой на месте Ильи Никитича, пожалуй, подумал бы, что ошибся в догадке: как же такое равнодушие. Но Илья Никитич был отчасти такой же человек, потому только увидел надобность сделать приступ сильнее.

— Ты можешь заключить из моего тона, что я знаю имя, которое ты не нашел удобным сообщить мне.

— Почему ты обратился за деньгами к Дятлову? — спросил Борис Константинович строгим тоном следователя.

— Потому что знал, что у него есть деньги, — только поэтому, — отвечал Илья Никитич тоном пылкого уверения, показывавшим, что он понял опасность своего положения. Вероятность действительно сильно была против него.

— Без подозрения, что можешь узнать через это что-нибудь?

— Честное слово, не предполагал.

— Верю; а я было усомнился в тебе; это было бы грустно.

— Нет, Борис, я честный человек.

— Верю, — сказал успокоительным тоном Борис Константинович.

Опасность для Ильи Никитича миновалась, этот предмет исчерпан, возвращался главный предмет, и роли опять переменялись.

— Догадка, случайно встреченная мною, стала достоверностью после твоего вопроса, Борис. Она возлагает на меня обязанность. Ты и я, мы смотрим на это дело различно. Мы не выражали своих мнений о нем друг другу, — но ты, конечно, предполагаешь, что я имею на него взгляд, противоположный твоему. Теперь, когда мое свидание с Лизаветою Антоновною уже не составит нарушения ее тайны передо мною, ты, конечно, не имеешь права мешать моему свиданию с нею, которое, конечно, будет иметь целью убедить ее возвратиться домой. Ты не имеешь ничего возразить против такого свидания?

— Не имею. Человек имеет право на то, чтобы слышать все мнения о том, что полезно или вредно для него. Я нарушил бы права Лизаветы Антоновны, если бы стал возражать против твоего свидания с нею.

— Итак, едем.

— Едем.

— Еще одно. Я мог бы требовать свидания с нею наедине?

— Конечно.

— Считаю это ненужным, потому что, присутствуя при нашем разговоре, ты, конечно, не будешь ни словами, ни выражениями лица мешать мне.

— Конечно. Если это будет трудно для меня, или [если] я замечу, что мое присутствие против моей воли мешает ей вполне свободно оценивать твои убеждения, я уйду.

Само собою разумеется, что аргументы Ильи Никитича ни-

сколько не подействовали на Лизавету Антоновну. Она очень жалела, что дело, на которое она решилась, огорчило ее родных; но сказала, что предвидела это, что их огорчение скоро пройдет, что для нее тут вопрос о довольстве на всю жизнь или о неприятной жизни навек; а с их стороны — вопрос о непродолжительном, хоть, может быть, и довольно тяжелом огорчении, что баланс тут очень неровен и что потому она находит себя правою. На замечания Ильи Никитича о том, что она губит себя на всю жизнь, она отвечала, что думает иначе, что положение в обществе ей не нужно, что к его мнению она совершенно равнодушна, словом, что она не жертвует ничем и не теряет ничего; что если она ошибается в этом, то что ж делать, если она не видит, что ошибается, а убеждена, что мнение ее основательно; что если она когда-нибудь изменит его, то, конечно, тогда она будет раскаиваться в том, что сделала теперь; но что она не полагает, чтобы ее мнение об этом вопросе когда-нибудь изменилось; а что, во всяком случае, человек не может действовать иначе, как по тем мыслям и чувствам, какие имеет в то время, когда действует. Короче сказать, она говорила совершенно так же, как рассудил бы и Борис Константинович, и с таким же спокойствием, как он. Илья Никитич увидел, что биться над этим напрасно.

— Перестаю спорить с вами, Лизавета Антоновна, — сказал он: — вижу, что вы непоколебимы. Но если нельзя надеяться, что вы возвратитесь в ваше семейство, то нельзя ли убедить вас сделать что-нибудь для его успокоения?

— Я готова сделать для этого все, что могу сделать не во вред моему решению, — сказала она. — Но, кроме того письма, которое вы уже знаете, я и Борис не могли ничего придумать. Предлагайте, если имеете что-нибудь лучшее. Я слушаю.

Что же, в самом деле, можно тут сделать? Илья Никитич задумался. С четверть часа в комнате было молчание.

— Одно, — сказал Илья Никитич, — одно, мне кажется, возможно. Вы знаете, что огорчение ваших родных происходит из разных источников. Один — родственная любовь, которая опечалена разлукою с вами. Для смягчения этого чувства невозможно сделать ничего. Вы умерли для ваших родных, и воскресить вас нельзя. Но горечь этого чувства очень усиливается тем уважением к мнению общества, над которым возвысились вы...

— Вы затрудняетесь сказать то, что хотите сказать, — я могу слышать слова, без которых ваша мысль не может высказаться. Я стала девушкою, потерявшею честь во мнении общества. Конечно, это должно очень много усиливать их огорчение. Но я не вижу, что можно сделать и с этой стороны.

— Вот что. Напишите, что вы удалились из дому, чтобы сделаться монахинею; что вы знали, что ваши родные никак не согласятся на это, и потому должны были уехать тайно. Это много успокоит их.

— Но это будет ложь, — сказала Лизавета Антоновна.

Началось долгое серьезное рассуждение, дозволительно ли средство, предлагаемое Ильею Никитичем. Борис Константинович, до сих пор молчавший, вмешался в спор, — он теперь имел право, потому что шел вопрос, уже не касавшийся личных его интересов. Наконец Илья Никитич победил, Лизавета Антоновна под его диктовку написала письмо, начинавшееся тем, что когда Дятловы получат его, она будет уже далеко от Петербурга, на дороге в пустынь, имени которой не назовет, и проч. Илья Никитич взял письмо и послал на другой день с какой-то станции железной дороги, до которой нарочно для этого ездил сам.

Дятловы не поверили письму, но действительно очень утешились им: теперь они могли не краснеть за младшую дочь перед чужими людьми. — Чужие люди, разумеется, еще менее Дятловых усомнились от письма в том, что сбежавшая дочь сбежала к любовнику; но все-таки рот им был наполовину зажат твердою верою, которую высказывали Дятловы в истину письма, которому нимало не верили; чужие люди, поговорив об этом скандале, стали говорить о новых, чужих для Дятловых; скандал Дятловых улегся, а они продолжали исповедывать свою веру в пустынь, — и если бы Лизавета Антоновна через год явилась в дом со словами, что прожила это время в пустыни, то я не ручаюсь за то, что ей не поверили бы и на самом деле: люди так любят принимать за правду то, что сначала только выдается за правду.

Итак, Илья Никитич благодаря тому, что сохранил доверие этих безумцев, получил возможность сделать кое-что для поправления их истории. Когда он спорил со мною, у него лежало в кармане это письмо о мнимом монастыре. Но он мне тогда не сказал этого; не сказал ничего и о том, как дошло дело до такой развязки, — ту историю посещений, доведших до нее, которую рассказал я, я также услышал уже гораздо позже, — все в одно время, в тот день, когда мне пришлось самому вмешаться в дело, как я сейчас расскажу, — до той поры я только и знал то, что Илья Никитич сказал мне по поручению Бориса Константиновича: что Борис Константинович просит меня не бывать у него, потому что вместе с ним живет девушка, об имени которой он просит меня не узнавать. Я даже был сбит слухами так, что не сообразил, что это Дятлова, сестра Серафимы Антоновны Лизавета Антоновна, которую я видел у него однажды. Эта виденная мною m-elle Дятлова вовсе не имела ухарского вида, какой предполагается признаком способности к сбегаанию на житье с любовником. Слух о том, что m-elle Дятлова бежала из дому, дошел до меня месяца через два, как рассказ о деле, бывшем недели две-три тому назад, — это не сходилось со временем воспрещения мне входа к Борису Константиновичу, да и слух-то был слабый, едва заметно коснувшийся моих ушей: Петербург велик, Дятловы не важные люди, я тогда почти не был знаком с Чек-

мазовыми, — так, изредка видывал Андрея Федоровича, — близких общих знакомых у нас не было, кроме Ильи Никитича, с Ильею Никитичем мы говорили не о городских новостях; итак, слух о пропаже m-elle Дятловой едва-едва коснулся нашего круга и был забыт в нем в ту же минуту, как услышан. Итак, я с полгода ровно ничего не знал; а если б я тогда знал то, что рассказывал теперь из узнанного мною после, то — хоть я и расположен смеяться над собою и особенно над своею сообразительностью, однако все-таки очень вероятно, что я сообразил бы что-нибудь и не стал бы держать себя так, как вот опишу через несколько страниц.

VI

Зерно начинает оказываться приносящим плоды, какие обыкновенно приносит девушкам, решающимся на такой страшный риск. А потом дело идет уже совсем особым порядком

О m-elle Дятловой я не думал ровно ни разу с того времени, как Борис Константинович расхвалил мне свою кузину, виденную мной у него. Но о девушке, которая поселилась вместе с Борисом Константиновичем, я, конечно, пожалел, и сильно пожалел, когда услышал, что какая-то порядочная девушка устроила таким манером свою судьбу. Впрочем, мало ли людей обоего пола губит себя? обо всех не надумаешься; и я через несколько дней после своего разговора с Ильей Никитичем стал забывать историю, которой никто не напоминал мне.

Но потрудился напомнить ее сам Борис Константинович, и самым невыгодным для себя образом. Не то, чтобы он заговорил со мною о ней, — нет, слов не было, но было нечто похуже всяких слов.

Однажды вечером, зашедши ко мне, он застал меня одевающимся.

— «Куда?» — «К Желтухиным». — «Прекрасно, отправимся вместе», сказал он. — Горничная m-elle Желтухиной отворила нам дверь. Я скинул пальто, как обыкновенно снимают пальто; а Борис Константинович возился над развязыванием кашне. Таким образом, я пошел из передней в зал один, и, сделав шага три, услышал позади себя, в передней, поцелуй. — «Вот как! — подумал я: — на три месяца вы, mademoiselle, хороши для меня; а на четвертый месяц горничная m-elle Желтухиной лучше. — Что ж, обыкновенное дело. Нужно разнообразие. Бедные девушки, вы жертвуете собою на всю жизнь, вас бросают через несколько недель. Бедные, глупые, жалкие. Не вы первая, не вы последняя. Этим я утешусь за вас, m-elle; а вы, уж не знаю, — каково-то вам теперь». — Тут я вспомнил, что уж и прежде, недели две назад, бывши у Желтухиных и встретив у них Бориса Константиновича,

я, если бы был наблюдательнее или догадливее, мог бы заметить то, что потрудился теперь запечатлеть в моих ушах Борис Константинович: когда горничная, подавая чай, подходила к Борису Константиновичу, он поглядывал и улыбался, и она улыбалась. А еще через несколько времени я увидел на Наташе, — так звали горничную m-elle Желтухиной, — шелковое платье; а еще через несколько времени встретил Бориса Константиновича с нею на улице.

А впрочем, m-elle Неизвестная, что же тут особенного? И следовательно, что же мне много думать о вас? — Но прошло еще два, три месяца и случилось такое обстоятельство, что мне пришлось не только подумать об отношениях Бориса Константиновича к неизвестной мне девушке, поселившейся вместе с ним, — пришлось даже вмешаться в эту историю.

Бывавши у Бориса Константиновича до запрещения мне входа к нему, я познакомился у него с несколькими молодыми людьми, его приятелями; все они мне понравились; — а двое, трое из них понравились так, что я вошел и в прямое знакомство с ними. Один из этих, близко сошедшихся со мною молодых людей, был Сапожников.

И вот, мой добрый знакомый, — отличнейший, благороднейший, чистейший человек, человек с нежною душою, Степан Данилович Сапожников, зашел ко мне и, потолковав [о] том, о чем поинтереснее, спросил: — «А что, — говорит, — этот дом, в котором вы живете, кажется, сухой». — «Сухой, — говорю я, — хороший; а что?» — «Да квартира в нем есть, так думаю нанять». — «Вот что, так хотите своей квартирой жить». — «Да, — говорит, — приходится обзаводиться, потому что женюсь; недели через две, я думаю; и вас на свадьбу позову». — «Очень рад, танцевать буду». — «Это, — говорит, — точно, будет лучшее зрелище, — только уж вы в таком случае поверх-то фрака этот халат наденьте». — «Извольте, надену, если невеста ваша позволит, в чем, конечно, нет сомнения. А кто ваша невеста?»

— Сестра нашего общего приятеля, Алферьева.

— Нашего общего приятеля, Бориса Константиновича Алферьева? Разве у него есть сестра? — сказал я, не совершенно умея [скрыть] удивление в голосе.

— Неужели [вы] не знаете? — Правда, вы слишком рассеян: пропускаете мимо ушей три четверти того, что говорится при вас или даже самим вами, и через четверть часа забываете три четверти из той одной четверти, которую успеваете расслушать. Ведь он живет вместе с нею, — вы должны же знать?

— Вспоминаю, — но что вспоминаю, вы спросите, — вспоминаю, что очень помнил это, произнося вопрос, да не догадался, что помню. Кстати, что я сочинил в среду, — стал я переходить через Невский и заметил, что трудно идти по камням, жестко; посмотрел себе ноги: ушел в этих туфлях.

— Что же вы сделали?

— Воротился, надел сапоги.

— Это вы хорошо сделали; в сапогах гораздо приличнее.

— Это я и сам так подумал. — На этот раз мне совершенно удалось; анекдот с туфлями, действительно случившийся, тоже вставил я кстати. Я вновь выразил свою радость женитьбе Сапожникова и проводил его благополучно. Я был очень рад, что он ушел скоро: мне было тяжело видеть его.

— Так вот что! Это ваша сестра, Борис Константинович! — Нет-с, это уж слишком. При всей моей уклончивости, я не мог удержаться, чтобы не вмешаться в это дело. Наконец есть же и во мне искра совести. Смотреть молча на такую штуку нельзя. — «Предрассудок». — Я сам говорю, что предрассудок, но говорить и чувствовать — две разные вещи. Нет, батюшка, Борис Константинович, это не совершенный предрассудок, то, в чем ставит общество честь женщины. Да пусть это и предрассудок, — ну, я согласен, что предрассудок. Тут проделка уж без шуток дурная, и очень. Если она согласна на вашу уловку выдавать ее за вашу сестру, чтобы найти мужа, то, значит, она в самом деле дурная девушка. Это, Борис Константинович, очень плохо. Так вот как: завлекли девушку, сделали ее в самом деле дрянным человеком и гадкою проделкою сбываете ее с рук на шею чистому человеку. Прекрасно.

Это было дело серьезное, потому я серьезно видел, что надобно соблюдать формальности, — например, нельзя ехать мне на квартиру Бориса Константиновича, — ведь он, пожалуй, может встретить меня словами, что ведь я обещался не бывать у него, поставить разговор на этой мелочи, оборвать меня на ней и уклониться от дела ссорою со мною из-за пустяков. Поэтому я написал Борису Константиновичу, что имею крайнюю надобность видеться с ним, и так как с меня взято слово не бывать у него, то я прошу приехать ко мне как можно поскорее, по очень важному делу. — Развязка разговора с ним не представлялась мне сомнительною. — Я скажу ему, что если он не избавит Сапожникова от несчастной женитьбы, то я принужден буду сказать истину Сапожникову. — Как человек все-таки умный, он не захочет доводить дело до такого посрамления для себя, это ведь уж не то, что история с Серафимою Антоновною. То был не больше, как смех, не марающий честь человека, а только выставляющий его дураком: человек, действительно уверенный в том, что у него сильный ум, не очень-то огорчается, если и покажется дураком дуракам, — это ему самому смех над ними, только. Но тут дело другого рода: низость, действительная низость, — тут не расхрабришься. Без сомнения, Борис Константинович будет у меня шелковый и отлично-рассудительный, свою диалектику-то отложит в сторону, согласится, что лучше устранить свадьбу, чтобы его низость осталась пропущенною без скандала, и вместе с своею

несчастною, — теперь уже и дурною, сожительницею, найдет средство расстроить свадьбу без шума. Если они не придумают ничего более ловкого, то можно сделать вот что: она делается больна; знакомый медик найдет, что точно, очень больна, и пошлет на Сергиевские воды или на кумыс. Деньги на ее поездку, — если у него нет, — и наверное нет, — найдутся у Ильи Никитича, Желтухиных, других. Не пожалеют трех, четырехсот рублей, — чтобы дело рассохлось незаметно для Сапожникова.

План, хоть и придуманный мною, был — скажу уж [без] подсмеиванья над собою, — действительно недурен. Я под первым впечатлением афрапировавшей* меня новости, — тоже скажу уж без подсмеиванья над собою, — мог бы говорить твердо, спокойно и неглупо. — Но... но... ну, что ж, истину не скроешь: тоже уж без подсмеиванья над собою, я должен признаться, что если под влиянием первого честного впечатления я могу поступать, как обыкновенно держат себя неглупые и не бесхарактерные люди, то надолго нехватает выдержанности: довольно отсрочки на три, четыре часа, чтобы впечатление ослабело, — тогда натура моя берет верх, и я впадаю в свой обыкновенный характер, то есть в бесхарактерность: трушу неизвестно чего и горячусь без надобности. С таким человеком, как Борис Константинович, трусить и горячиться — вещь неудобная.

Я это понимал; потому что, говоря кроме шуток, я знаю свои недостатки, — потому, что ж, в самом деле, не сказать и того, что могу я по правде сказать хорошее о себе? — мне не за себя, а за Сапожникова было жаль, что слуга, отвозивший мою записку, возвратился с ответом, что г. Алферьева нет дома, что он возвратится домой только к обеду. Итак, он будет у меня уже только вечером, — я предвидел, что вечером я уж не сумею держать себя, как следует, и что, пожалуй, Борис Константинович разобьет меня. Оно так и сбылось.

VII

Борис Константинович сбивает своего собеседника на всех пунктах и, сделав ему надлежащую головомойку, показывает требуемое благородством великодушие к побежденному. Столь замечательного успеха Борис Константинович достигает тою стратегиею и тою же невозмутимостью духа, которою Барклай де Толли спас Россию в отечественную войну 1812 года

Услышавши в передней голос Бориса Константиновича, спрашивающего: «дома?» — я смутился своим же страхом, что буду плох, однакоже добросовестно старался привести себя в ровное и умеренное настроение, какое было нужно, — но, разумеется, еще не успел достичь этого, когда вошел Борис Константинович и своим обыкновенным, простым, спокойным и несколько

* Афрапировавшей — от франц. *frapper* — ударять, изумлять.

заунывным от гражданской скорби голосом, с обыкновенною беззаботностью сказал: «Ну, что такое за важное дело до меня?»

— Борис Константинович, — начал я, несколько робким голосом, но постепенно оправляясь, так что договорил свои слова уже хорошо: — Извините, что я касаюсь щекотливого вопроса, но это нужно, — вы еще продолжаете жить вместе с девушкой, с которою поселились полгода назад?

— Да, — сказал он: — вы должны были бы знать это уже из того, что иначе снова просил бы вас [бывать] у меня, потому что мне приятно видеться с вами.

Теперь я понимаю, что он уж этими словами впутывал меня в свою диалектику: ведь логично; — ведь идя по этой дорожке, которую он мне прокладывал, я должен был запутаться в нелепости, — что уже вот и этот первый мой запрос он повертывал в нелепость, — да не только теперь я это вижу, я это видел и в конце того же вечера, — но уже было поздно, — а в ту минуту я этого не сообразил и только приобдрился, как Наполеон в 1812 г., и пошел дальше: благо, видите ли, Борис Константинович не раздражается щекотливостью вопроса, — я и налег посмелее, да все смелее да смелее, и лез вперед, пока он взял меня за чуб как школьника.

— Можно спросить, она выходит замуж?

— Да, — отвечал он холодно и безобидно.

— Как же это? — спросил я уже храбро.

— Что же тут особенного? Разве у вас было какое-нибудь основание предполагать, что она зареклась выходить замуж? — Если вам это показалось, то из этого следует, что вы, по вашей рассеянности, в ошибочном виде припомнили слух, который, я предполагал, вы не имеете оснований отнестись к ней.

Теперь-то для меня очень понятно, о каком слухе он говорил: о том фальшивом слухе, что m-elle Дятлова скрылась из семейства в монастырь, — и он хотел этим сказать, что не предполагал, чтобы мне было известно, что девушка, поселившаяся с ним, есть m-elle Дятлова. Но тогда ведь я не знал этого, потому, натурально, не мог сообразить, к чему он говорит это. — Теперь-то ясно, что он мог вывести из этого: «какое основание имеете вы произносить такую или иную фамилию?» Он и из этого сочинил бы не совсем безэффектную штуку, — но я шел дальше и дальше, потому штука вышла лучше.

Хотя бы я тут остановился и попросил его объяснить, что он хочет сказать этими словами, которые были для меня странны, — но я не догадался сделать этого, а продолжал наступать:

— Нет, у меня не было оснований предполагать, что она зареклась, — конечно, налегая на это слово, как следует, — выходить замуж; но я предполагаю из этого, что ваши отношения к ней изменились?

— Нет, — отвечал он, начиная поглядывать на меня несколько дико, но отвечал холодно: он понимал, что говорит и к чему говорит, потому только и отвечал «нет» холодным тоном.

А этот холодный тон начинал бесить меня. Но мне все казалось, что я иду очень осторожно, — мне казалось, что я ошупываю каждый шаг, твердая ли земля у меня под ногами, и я еще тоже спокойным тоном сказал:

— То есть, вы хотите сказать, что вы продолжаете называть для других, — налегая, как следует, на эти слова, — вашу сестрою эту девушку?

Но он-то в самом деле был хладнокровен, потому видел, что я бешусь, хоть и стараюсь держаться спокойным, — потому он понял, что пора сделать реплику, и сказал уже очень серьезно, но тихо, даже любезно:

— Да, между прочим я хотел сказать и это. Но ваши слова начинают быть странны; да вы проще скажите, что вам нужно знать, а не горячитесь.

Ну, известно, что слово «не горячитесь» человеку, уже горящемуся, — масло на огонь, — какво делается вызов, с какою невинностью! — кто холодно выдержит такую бесстыдную наглость? — Я и хватил:

— Как же это, Борис Константинович, вы оставляете в заблуждении человека, который думает жениться на ней, предполагая вашу сестрою девушку, с которою вы имели и имеете связь?

Только я сказал, — и мне казалось, что я иду вперед обдуманно: и я сказал этими самыми словами, у которых грамматическая конструкция показывает, что они произносятся обдуманно: довольно длинный, синтаксически правильный период — я был еще спокоен, только разве в том и не совладел с горячностью, что произнес их живым тоном.

Борис Константинович вскочил, глаза у него сверкнули, лицо приняло свирепое выражение, он как-то подпрыгнул ко мне, — хоть как кошка, чтоб не сравнивать с тигром, да и изволил сказать глухим голосом:

— Кто вам это сказал? Кто-нибудь сказал. По одной догадке вы не говорили бы так смело. Это мог сказать только Илья Никитич. Он? Он?

И тут не потерял основательности, — видите, сжатый условно-категорический силлогизм:

Большая посылка. Если бы вы не имели положительного сведения о факте, положительно известном очень немногим, вы не стали бы говорить с такою уверенностью.

Меньшая посылка. Но вы говорите с полною уверенностью. Заключение. Итак, вам кто-нибудь сообщил положительное сведение.

Большая посылка. Из людей, положительно знающих этот факт, только тот мог выдать меня вам, кто с вами лучше, чем со мною.

Меньшая посылка. Из них с вами лучше, чем со мною, только Илья Никитич; он несравненно лучше с вами, чем со мною; все остальные несравненно лучше со мною, чем с вами.

Заключение. Итак, этот факт сообщен вам Ильёю Никитичем.

Со стороны логики, как видите, безукоризненно. В такую правильную форму разложил я сжатый силлогизм Бориса Константиновича уже на досуге, — а тогда удовольствовался сжатой его формой, — потому что, кроме-то шуток, ведь и я же не круглый дурак: могу и в сжатой форме силлогизма видеть, допускает ли он какое-нибудь возражение, или нет, — потому-то и Борис Константинович допустил выражение сжатой формы: для дурака надобно было бы изложить силлогизм подробно, а это, говорит, неглупый человек, без посылок сумеет сообразить, что неопровержимо, — и я, точно, — ведь я не глупый человек, я сообразил, — вмиг сообразил и выводы из силлогизма сообразил, — все в один миг, потому что, — кроме-то шуток, я очень неглупый человек; выводы вот какие: Илья Никитич с простреленною головою, — немедленно; — «Илья, есть факт, о котором объясняться бесполезно, если ты не идешь на дуэль так, то я тебе дам пощечину, хоть это мне и очень неприятно; итак, едем без пощечины», — Борис Константинович в виде трагического героя. Улик нет, что была дуэль: чорт знает, кто убил Илью Никитича, потому что секундантов такие люди, как Илья Никитич, не приглашают; что путать других в беду? — На всякий случай, впрочем, Борис Константинович уезжает на другой-третий день в Германию, Англию, — прежде чем и спохватились, что нет Ильи Никитича, — возвращается через полгода, когда об Илье Никитиче забыли думать. Ведь я знал, с кем имею дело.

Я после спрашивал Бориса Константиновича, правильны ли были мои соображения о его мыслях. Он сказал, — что совершенно правильны, что никакими своими отрицаниями я не мог устранить от Ильи Никитича дуэль через платок, без секундантов; но что, конечно, был такой же шанс, что пистолет с пулею достанется Илье Никитичу.

То есть все это было логически безукоризненно, и Борис Константинович не видел никакого другого исхода, точно так, как и я. Но дело приняло другой оборот, — Борис Константинович отскочил от меня, хлопнул себя рукою по лбу, вскрикнул: «да что это я с ума сошел?» — и сердито сказал мне:

— Ну, с чего вы это выдумали?

У меня мелькнула мысль, что точно, уж не оказывается, что под моими ногами нет почвы, — но, — вот в этом, уже действи-

тельно, совестнее всего признаться, я сообразил и другое. А чтобы признаться в том, в чем действительно совестно признаваться, надобно изобразить, что произошло в моей душе при мысли об Илье Никитиче с простреленною головою, и о том, что это удружил ему я, — а это произошедшее в моей душе делает мне честь.

У меня была мысль: «нет, Борис Константинович, я не допущу этой дуэли, — во что бы то ни стало, а не допущу. Положим, что я не храбрец, но все-таки и не такой же трус». — Это я сознавал очень твердо и ясно, и это должно было выражаться на моем лице: решимость человека, который, доведенный до крайности, забывает свою обыкновенную уклончивость и трусоватость, — как курица, которая в отчаянии обертывается и останавливается, готовая броситься на кошку, настигнувшую ее, и тогда роли мгновенно изменяются: кошка бежит, потому что ведь в самом деле курица заключает ее, если уж решилась собраться с духом, — я это видывал несколько раз; жаль только, что куры редко решаются собраться с духом, — и потому кошки обыкновенно съедают их без малейшего затруднения.

Сравнение с курицею и кошкою я делаю теперь для украшения речи; тогда я был занят не украшениями речи. Но мне показалось, что Борис Константинович точно так же озадачен, увидев на моем лице решимость и твердость, как сначала озадачился я, увидев его, человека невозмутимо спокойного, вошедшим в судорожное бешенство. Он пересолил, запугал меня до того, что сам струсил.

Это соображение делает, — скажу без шуток, — большую честь моему уму. Ведь я был очень встревожен и, однако же, рассудил верно и хорошо. А факт, на котором оно основано, делает — тоже скажу без шуток, — честь моему сердцу: ведь я встревожился не за себя: ясно было, что Борис Константинович оставляет меня в стороне, а что ему нужен Илья Никитич; и я, точно, думал: «позвольте, я говорил с вами, то я и отвечаю; а до Ильи Никитича я вас не допущу. Вам меня не удастся отстранить. Имейте дело со мною». — Все это очень неглупо и очень честно. В чем же теперь мне совестно признаться? Да понятно, в чем: ничего этого Борис Константинович не прочел на моем лице. Естественно, я не спросил же его, героем ли я смотрел, — это неловко спрашивать, но я спросил, что выразилось на моем лице, когда он отскочил? — Он сказал: «удивление и недоумение». — «То есть трусость?» — чтобы по обыкновению обратиться к насмешкам над собою ли, над другими ли, все равно. — «Нет, — говорит, — сказать так, будет слишком определенно; видно было, что у вас в голове бродит множество мыслей и вы не можете остановиться ни на одной из них; растерялись вы, вот что было видно, когда я опомнился сам; это меня и успокоило, — говорит: — ведь я вспомнил, какой вы человек». — «Какой же?» я

говорю. — «Ну, да что, — говорит, — это вы сам отлично знаете; впрочем, — говорит, — хороший человек». — «Ну так что ж?» — я говорю. — «Ну вот, — говорит, — я, вспомнив это, и понял, что Илья Никитич тут не виноват».

Итак, я все[таки] могу сказать, что выражение моего лица спасло Илью Никитича, заставило Бориса Константиновича отскочить и выгнало из него мысли о дуэлях. Но только теперь я говорю это, подсмеиваясь над собою, — а тогда ведь я воображал, что я и подлинно смотрю героем.

Вот тут-то и кстати мое любимое размышление: «ох, человеческая натура, человеческая натура!» — Из сотни мыслей, мелькавших в уме, самолюбие овладело одною, очень хорошою, и при всей сумятице в голове, самолюбие все-таки не растерялось, — нет, все-таки бодро и твердо подсказало: «вот эта мысль и есть главная, можно сказать единственная твоя мысль». — А на деле-то выходит, что мыслишка-то эта, очень хорошая впрочем, была такая маленькая и слабенькая, что для посторонних глаз была и вовсе незаметна за десятками других, не имевших такого храброго и честного характера. — Да точно ли нельзя было выразиться ей на моем лице? — Как теперь-то я разбираю, то вижу, что точно, нельзя ей было выразиться, потому что нечему и выражаться-то. «Останавливаю, во что бы то ни стало» — это я думал точно, но как, чем останавливаю — этого мне не представлялось, — представлялось вот: на дуэль я не пойду. Что ж другое? — Ничего, что ж это такое «во что бы то ни стало»? — неизвестно; только разве вот что, — я думал: «я полагаю, что слажу с ним в борьбе, — я сваляю его и скручу, если он бросится на меня; я много здоровее его», — значит, в случае его попытки на драку, мне нечего бояться; да ведь драке быть было незачем.

Вот на каких глупых моментах ловлю я себя, — это все очень забавно; но обидно, воля ваша. — Однако стану продолжать, по словам поэта, «без размышлений, без тоски, без думы роковой» — дум и размышлений уже довольно.

— С чего вы выдумали, что я имею или имел с нею связь? — повторил Борис Константинович, садясь и успокаиваясь: — Вы совершенно ошибаетесь в этом странном предположении.

Если бы имел каплю здравого смысла, я сообразил бы, что мое дело — плохо. Но ведь я победил Бориса Константиновича, потому отвечал и обижаясь, и геройствуя:

— Нет, Борис Константинович, уж напрасно вы считаете меня таким смешным простаком, чтобы можно было уверять меня в таких вещах! Вы не имели связи с этою девушкою! Да ведь я не пятилетний ребенок, чтобы..

— Ну, довольно, батюшка, довольно, — сказал он холодно и грубо: — я вижу, что спорить с вами напрасно. Поедьте ко

мне, там уже вместе и мне и ей и прочтете все ваши нотации, — а мы будем слушать.

— Поедем, — сказал я. Ну, теперь-то я уж увидел, что мое дело плохо. Но все-таки, чорт знает, что ж это такое? — «Это чорт знает, что такое», выразил я и вслух, сходя с лестницы.

— Как это жаль, — это очень грустно, — говорил Борис Константинович; — но я предвидел это с самого начала.

— Что грустно, Борис Константинович, — то, что, по-моему, это чорт знает что такое?

— Да, то, что я предугадал, что вам покажется это странно. Потому я и не говорил с вами об этом.

— Да как же не странно, Борис Константинович?

— К сожалению, я слишком хорошо знал вас, когда решил отказаться от удовольствия видеть вас иногда в нашем кругу, который и вам нравился. На вас только подтверждается моя мысль, что поколение, предшествующее нашему, глубоко развращено в душе; неспособно не только само иметь благородные, — он приостановился, потому что мы сели на извозчика, — простые человеческие отношения к людям — неспособно даже верить возможности таких отношений, — продолжал Борис Константинович размышлять вслух для моего назидания, унылым тоном, соответствующим предмету. — Это очень, очень жаль. Какой прогресс возможен, пока большинство общества составляют люди вашего и предшествующих вашему, еще более дурных поколений! — Это очень, очень жаль.

— Ну, послушайте, Борис Константинович, да согласитесь же, что оно действительно странновато. Это противоречит всем понятиям о человеческой природе.

— Чьим? — вашим, может быть; пошлым — несомненно, — отвечал он уныло.

— Да полноте же, Борис Константинович — как же не называть странностью, что молодой человек и молодая девушка живут вместе и не имеют связи?

— Разве между молодым человеком и женщиною не может быть никаких других отношений, кроме того, что вы называете связью? Так думают турки и потому держат женщин взаперти. Мы отказались от этого обычая; следовательно, отказались от этих понятий.

В таком тоне он назидал меня всю дорогу. Лишь [только] я открывал рот, чтобы заявить ему, как «однакоже» это «странно», он все мои «однакоже» и «странно» сводил на ориентальную дикость; но сводил коротко, только чтобы не оставить меня без назидания, а не для того, чтобы карать; и сам не начинал говорить, — только отвечал, — я был ему жалок, и он щадил меня.

VIII

Я имею с девицею — конечно, Л. А. Дятловою — такой разговор, какого никогда не имел ни с какою девицею ни один из подобных мне фениксов беспримерного благонравия и какого не имела по выходе замуж с мужем своим ни одна из девиц, свадьбы которых совершаются, как свадьба моей собеседницы, должным порядком, с благословения родителей и без всякого шума и злословия

— Вновь представляю тебе, Лиза, моего доброго приятеля, — он назвал мое имя, — вы однажды встречались, но это было так давно, что вы могли и позабыть друг друга в лицо, — сказал Борис Константинович, когда мы вошли в ту из комнат его квартиры, где сидела в это время его странная сожительница, которая шила что-то, когда мы вошли. Конечно, другой бы этим и ограничился, но Борис Константинович, с обыкновенною своею основательностью, прибавил для пояснения: — Я нашел, Лиза, — вероятно, и ты согласишься, что теперь ты уже безопасна со стороны твоих родных, можно было привезти его: теперь, если до них и дойдет слух, это не повредит тебе.

— Я очень рада возобновить знакомство, — сказала Лизавета Антоновна, как обыкновенно говорится.

В это время я опять произвел обозрение лица моей новой знакомой, по случаю того, что она подала мне руку, здороваясь, — переменилась ли Лизавета Антоновна с тех пор, как я видел ее, я не умел бы тогда сказать, потому что при первой нашей встрече не смотрел на нее внимательно, — может быть, стала немножко получше, но все-таки далеко не могла называться хорошенькою: небольшого роста, худощавая, белокурая, с курчавыми волосами, с серыми, спокойными глазами — умными, довольно приятными, с несколько угловатыми чертами лица, она была очень похожа на Бориса Константиновича. Когда я видел ее в первый раз, сходство это не бросилось мне в глаза; тогда я подумал, что не бросилось оно в глаза при первом свидании потому, что я не смотрел внимательно. Но года через два, даже через год потом, сходство менее бросалось в глаза. Сходство уменьшилось отчасти просто потому, что Лизавета Антоновна несколько похорошела, — до того, что теперь она недурна собою: стала полнее, стала румянее, вообще развилась — ей тогда было только 18 лет, — от 18 до 20 лет человек довольно много изменяется, и женщина едва ли не больше, чем мужчина. Но я полагаю, что, кроме этой причины уменьшения сходства в лице, большую роль тут играло и выражение физиономии: тогда, перед замужеством, Лизавета Антоновна казалась гораздо более похожа на Бориса Константиновича, чем была в самом деле, оттого выражение лица ее было совершенно такое же, как у него. А это было, конечно, оттого, что она была тогда под очень силь-

ным его влиянием. В ее жестях, голосе — все точно так, как у Бориса Константиновича: та же будто бы вялость, флегматичность, тот же спокойный, тихий голос. И она тогда, как он, по физиономии, манерам, тону разговора была воплощением того, что называется «холодный фанатизм» — определение, вроде того, как бы сказать «холодный огонь», — но выражение хорошее тем, что при всей своей нелепости, всем известно. Фанатизм — огонь и холодным быть не может. Но иной огонь горит неровно, то бросает большие полосы пламени, и все в разные стороны, то опускается; у кого страсть действует так, того все называют человеком страстным, — и справедливо. Но несправедливо называют бесстрастными тех, у кого страстность действует ровно, как горит ровный огонь. Впрочем, и тогда в характере Лизаветы Антоновны можно было замечать некоторое различие от Бориса Константиновича: она была менее неподвижна в своем наружном хладнокровии, — а после она и вовсе стала очень подвижною, живою. Унылость в голосе через год тоже совершенно прервалась. Но все-таки и после она осталась, — конечно, уж так была от природы — довольно близка по характеру к Борису Константиновичу. Главная черта у обоих была ведь та, что оба были люди очень сильной и твердой воли. Ну, а такая воля уже не заимствуется от чужого влияния, как не заимствуется маленькая ручка от модистки. Посмотревши на нее, что она не очень-то способна раскаиваться в своих решениях, — и что какое там сильное влияние Бориса Константиновича ни будь, а что эту штуку сочинила она сама, что переселилась к нему: он только не помешал ей, а подговорить — такую не подговоришь. Влияние было в манере, в форме, — но это был характер такой же независимый. Если кто мог посчитаться с ним, то, конечно, она. Оба были из тех собак, которые не скалят зубов. Поглядывая на нее, я делал такое предположение: что, если бы [она] была на месте своей сестрицы, женою А. Ф. Чекмазова. — Мне представлялось, что она могла бы отравить его, — нет, не отравить, а задушить, а еще скорее, просто надавать пощечин и уйти к родным, или тоже как теперь, куда бы вздумалось; а всего вероятнее, жить с ним как кошка с собакою, не подпускать его к себе ближе, как на три сажени, — то есть жить и вовсе без драки, кроме спокойных замечаний за обедом: «молчите, Андрей Федорович». — А впрочем, почему же знать, — может быть, и ничего этого не было [бы], а умерла бы она от чахотки на второй год замужества. Это, может быть, еще вероятнее.

Все эти наблюдения и выводы, требовавшие наблюдений за физиономиею, выражением глаз, я сделал в первый же разговор с нею. А из этого следует, что я очень много осмотрел ей в лицо; а из этого следует, что разговор был необыкновенный; заключение правильное: было то, что из «этого» следует, — но было и кроме того, что из «этого» следует, много было другого, чего из

«этого» еще не следует, — и все так же, необыкновенное; между прочим, был и аккомпанемент, очень занимательный для многих, — но не для меня и не для моей собеседницы, — и вот это-то последнее обстоятельство, его незанимательность, составляет также черту немаловажной необыкновенности.

Разговор уже и с самого начала был необыкновенный, потому что Борис Константинович, своим замечанием Лизавете Антоновне о безопасности и безвредности появления моего перед нею в настоящий момент, открыв мне, что из квартиры его был исключен только я, как болтун и сплетник, а что все остальные его знакомые — люди так себе, ничего, порядочные, — итак, Борис Константинович, порадовав меня этим открытием, которое было тем приятнее, что я сам его сделал, — не другой кто научил меня приятной истине, а я сам нашел ее, — итак, прямо после этого Борис Константинович продолжал, без всякого перерыва речи:

— Он, Лиза, говорил о тебе чрезвычайно дурно, — а думал, конечно, еще хуже, потому что если он скажет «она не совсем безукоризненна», то он думает уже наверное: «ее следует высечь плетьюми», — у него такая манера, мягко стлать, — это у них у всех ведь такая, ты знаешь людей старого века; — но теперь он, вероятно, уже ничего не имеет против тебя.

Он, — то есть это я-то. Сколь правдиво, столь же эффектно, — то есть для меня; я истолковал это в своих мыслях так: «Ты, Лиза, собственно говоря, должна была бы дать ему пощечину, а еще лучше, если бы ты поручила своему жениху исполнить над ним этот очень недурной в подобных случаях обряд; но так как, во-первых, это не принято в нашем кругу, а во-вторых, он-то уж слишком плох, то я не вправе осудить тебя за то, что не намерена делать этого», — такое введение к новому знакомству было, я согласен, не совсем обыкновенно; но так как оно было сделано Борисом Константиновичем, то эта необыкновенность не была удивительна.

— Ну, я очень рада, что вы, — она назвала меня, — помирились со мною, — сказала Лизавета Антоновна.

Мне тогда показалось, — да и теперь тоже кажется, — что я все-таки вышел из этого дикого положения наилучшим возможным образом, сказав:

— Да, я очень сильно порицал вас, Лизавета Антоновна, за страшный риск, который вы делали, бросая семейство. Это ужасная вещь. Но, впрочем, я, быть может, и ошибался: бывают исключительные положения, которые уполномочивают на риск.

В самом деле, что же я мог сделать лучше этого? — Промолчать — нельзя; отпираться от того, что я резко думал о ней в дурную сторону — нельзя; сказать, что я совершенно бросил возражения против ее поступка и восхищаюсь им — нельзя. Стоять

на месте — нельзя, и все выходы загорожены, кроме одного — я в него и пошел: выразить сильное порицание вообще против принципа, но сказать, что допускаю извинение для некоторых случаев.

Вот это было необыкновенно для меня, что я сказал это, — потому что я никогда не говорю того, что я в самом деле думаю: я постоянно лгу, двоедушничая и двуязычничая. Я чувствовал, что влечет меня мой язык рассыпаться в каких-нибудь льстивостях и восхищениях, — да видел, что уж очень глупо вышло бы это, — ну, и сказал так, как думал, без лести, — сказал и удивился: как же это персиянин говорит не по-персидски, а по-русски? — «Арарат высокости души твоей, о пери, ниспосылает лучи белизны заоблачных снегов в благоговейные глаза раба, ничтожного перед тобою», — так бы следовало. Я всегда так говорю с дамами и девицами. Что я думаю о пери, с которыми так объясняюсь, это другой вопрос.

Но Лизавета Антоновна не занялась этим, а сказала, не размышляя об Арарате, а отвечая на то, что относилось к ней в моих словах, на этот раз русских, — тоже по-русски, что, впрочем, и неудивительно, потому что она была русская:

— Да, бывают исключительные положения, когда семейство так дурно, что девушка вправе итти из него на всякий риск. Но я не скажу этого о моем семействе. Мои отец и мать — неразвитые люди, — очень неразвитые, это правда, — но только и всего. Они не притесняли меня. Отец мало вмешивался в мою жизнь, как и большую часть отцы мало вмешиваются в жизнь дочерей. Моя мать — конечно, странно было бы, если бы мать мало говорила с дочерью, — это даже показывало бы в ней слишком беззаботную, не любящую мать. Я не скажу, чтобы разговоры ее нравились мне. Вы понимаете: что было общего в понятиях между нами? — мы люди разных миров. Она не читала ни Гоголя, ни Жоржа Занда, ни Диккенса, — а я читала. Поэтому, если из того, что она не одобрила моего отказа тому или другому жениху, не следует, что я ошибалась, отказывая, то и наоборот, из того, что мне не нравились ее разговоры, не следует, что она была дурна ко мне. Нет, я должна сказать, что если она старалась склонить меня к тому, что не годилось для меня, то действовала по крайнему своему разумению, искренно, с расположением, — и я очень хорошо понимала и тогда, что она заслуживает признательности если не за содержание своих советов мне, то за намерение, с которым давала их. Мне было неприятно слушать ее, — но она исполняла свою обязанность, говоря мне. Она была недовольна тем, что я не слушаюсь ее, — но она не стесняла моей свободы, — нет, нет.

Она замолчала. Я должен же был что-нибудь отвечать на это: молчать неучтиво; переменить разговор — значит мой ответ: «я не могу продолжать говорить с вами об этом предмете, суда-

рынья», — то есть хуже всего на свете, что может быть выражено словами: ведь я сделал замечание, мне отвечали на него, — я должен сказать, удовлетворяюсь я ответом, или [не] удовлетворяюсь. Так я тогда рассудил и теперь думаю, что рассудил правильно. Итак, я должен был отвечать. Что же я мог отвечать? — Опять я в прежнем положении: стоять нельзя, все выходы загорожены, кроме одного. Каково положение? — Я сказал: вообще, я не одобряю таких поступков, как ваш; но, быть может, ваш был сделан при исключительном положении, извиняющем его. — На это мне сказали: нет, мое положение не представляет исключительных причин к извинению; извиняете вы его или нет? извольте отвечать. — Я не видел тогда — и теперь не вижу — возможности уклониться от ответа: не одобряю. — Ну, я так и сказал:

— Скажите же, Лизавета Антоновна, как вы решились на такой страшный для девушки поступок, как уйти из семейства?

Вот-с, я таким-то манером и сказал, — и тогда думал, что не мог сказать ничего лучшего. Ну-с, а она, разумеется, и поняла то, что я сказал, и дала на это реплику:

— Осудить мой поступок — очень легко; почти все должны осуждать его; — не осуждают только, а должны осуждать его — (и так тихо, искренно говорила это), — потому что каждый судит и должен судить по своим чувствам; права ли я, я этого не решаю; я знаю только одно: если бы ныне должно было решать мне, уйти или нет, — я бы и теперь сделала так же, как тогда. Это странно для других: девушку любят родные, как умеют, не притесняют ее, — девушка знает, что она лишается всего, чем дорожат в обществе, если уйдет, — она и сама очень дорожит этим, — и все-таки уходит. Вы говорите: она безумная; я не хочу решать, правы ли вы; если вам угодно, я должна сказать больше: на вашей стороне огромное большинство; большинство голосов — еще не доказательство справедливости решения, это так, но вообще, правда бывает за большинством. Поэтому вы совершенно вправе сказать: ваше мнение, что эта девушка — безумная, гораздо правдоподобнее противоположного. Но вы согласитесь, что ее поступок — то есть мой поступок, — безумен ли он, или нет, но он странен. Я прошу вашего согласия только на эти слова: он странен. Странное — любопытно рассматривать, чтобы понять, как же эта странность могла произойти. Я вам скажу это...

Если бы я слышал эти слова часом после, — то есть, если бы это говорено было Лизаветою Антоновною не в начале, а в середине нашего разговора с нею, то наверное я расхохотался бы ей в лицо, и очень [может] быть, что даже сказал бы: «экая вы хитрая каналья», — то есть я сомневаюсь в том, употребил ли бы я слово «каналья», — слово «плутовка» уж наверное не показалось [бы] мне слишком невежливым, — примеры чему и

будут обозначены на своем месте, — но в начале разговора я еще не привык к диалектике Лизаветы Антоновны, — диалектика ее чуть ли не была еще поискуснее диалектики Бориса Константиновича.

А впрочем, я довольно долго не слушал, что эта вкрадчивая девушка распевала передо мною своим тихим голоском, довольно милым, — а не слышал потому, что занялся в своих мыслях рассмотрением вопроса: отец я ей, или нет?

С одной стороны, представлялось очень неправдоподобно, что я ей отец. — Никогда я не был в законопреступной связи ни с какой женщиной — этот факт я знаю очень твердо; она не была дочерью моей жены, — это я тоже знаю очень твердо. Итак, мое примерное благонравие, повидимому, устраняло самую возможность вопроса. Если взглянуть на дело с другой стороны, — тоже неправдоподобно: ей лет 18; мне — 31 год; в 12 лет я был маленький мальчишка, — не становятся отцами в нашем климате такие мальчишки: мое отечество — 52 градус северной широты. Итак, свидетельством хронологии также отвергается вопрос. Есть третья сторона — и с третьей стороны тоже: я не чувствую ни тени родственного расположения к ней, — какой же я отец ей, когда седьмая вода на киселе мне ближе и роднее, чем Лизавета Антоновна, — не то чтобы чувствовать влечение к ней, я чувствую, напротив, положительное нерасположение к ней.

Итак, три стороны, с одной стороны; но есть четвертая — она с другой стороны; на этой четвертой стороне, которая с другой стороны, представляется такая сцена. Теплая комната, очень большая: в ней сидят, ходят много людей, — в том числе мое семейство, и я тут же. Отворяется дверь, входит человек и говорит: «ах, как холодно на дворе! Я еще дрожу от холода», — и точно, можно разобрать, что дрожит, но не разберешь, мужчина или женщина и каких лет, — потому что еще не рассвело, чуть заря поднимается. «Это преступление», — что такое, откуда взялись эти слова, — к чему они относятся, то ли преступление, что заря поднимается, или что еще темно, или что этот человек вошел в комнату, или что мы в ней сидим, или то, что на дворе холодно? — Неизвестно.

Вот я и раздумываю: с одной стороны, три стороны; с другой стороны, одна сторона. С трех сторон приходится, что я ей никак не отец. С четвертой стороны спрашивается, в чем преступление? Из этого следует вопрос: с чего же приходится, что я ей отец? Вопрос трудный. — Увидев, что разрешить его никак нельзя, я стал опять прислушиваться к тому, что говорит Лизавета Антоновна.

— ...Это трудно понять тому, кто сам не чувствовал, потому, повторяю вам, огромное большинство не имеет оснований смотреть на это иначе, как на безумие. Не с кем поговорить, — кажется, что тут важного? Кажется, — должно казаться, я согласна, —

тут нет ничего важного. — Но весь день быть одной или хуже чем одной — это очень скучно, — я вернее сказала [бы]: невыносимо, убийственно, — но эти слова могли бы возбуждать спор, потому я не употребляю, и говорю только: это было очень скучно: — против этого слова вы не можете (с одной стороны, три стороны; с другой стороны, одна сторона) ничего сказать (с чего же приходится, что я ей отец). Свидания с Борисом были единственное время, когда я видела человека, с которым могла говорить. Мои домашние, сестра, зять, все, кто у них бывает — люди, с которыми я не могла говорить. И вот, единственный друг, которого я имела, исчез от меня, — поймите это. Больше я ничего не имею в объяснение (с другой стороны, одна сторона; с чего же приходится, что я ей отец?) моего поступка. Но представьте себе, что вас послали жить в деревню, где есть всякие люди, и дурные, и хорошие, — хорошие, может быть, больше, чем дурных, — но ни одного грамотного человека, — вы страшно соскучились бы, вы всею душою рвались бы куда-нибудь, — все равно, — где могли бы увидеть кого-нибудь, — все равно куда, кого, все равно, — с кем бы могли говорить. И вдруг вы (из этого приходится) узнаете, что подле вашей пустыни живет (с другой стороны, одна сторона из этого приходится) ваш друг, что вы можете с ним видаться, — вот какое действие было произведено на меня ответом Бориса: «я не могу бывать у вас; но я очень рад видеть вас у себя». — Я имела против этого очень многое, — бывать у него — я очень хорошо знала, к чему это может повести, и очень скоро я стала предчувствовать совершенно другое, к чему непременно поведет, — и привело. Против всего этого я имела сильные возражения (с одной стороны, три стороны; с другой стороны, одна сторона; из этого приходится, потому что пустыни), — очень сильные возражения. Но перенеситесь в то положение, с которым я сравнивала свое. Если б этот друг, видаться с которым стало для вас возможно, если только захотите вы, — если б он жил от вас за оврагами (потому это пустыни; потому об этом не стоит думать), перебираться через которые очень трудно, — за лесом, в котором могут напасть на вас разбойники, — могут, почему вы знаете, что не могут, потому что вы не разбойник, не знаете, где они, что они хотят делать, — может быть, они пришли в этот лес и ждут вас, — словом: если б эта недалняя дорога (это пустыни, потому об этом не стоит думать) была очень опасна, достало бы у вас...

— Борис Константинович, вас спрашивают, — сказала старушонка-кухарка. Борис Константинович встал и ушел; и не возвращался уже весь вечер, так что я и ушел, не видев его больше.

— ...рассудительности, чтобы сказать себе: нет, я лучше останусь дома. И была ли бы это рассудительность? Может существовать противоположное мнение, что это был бы недостаток мужества, бесхарактерность, вялость. Да.

Ну, это не требовало ответа; потому я и промолчал. А говорить мне с нею было не о чем, потому я и хотел уйти, — но она-то ведь говорила о себе, потому предмет-то ей был интереснее, чем мне, — и естественно, потому что ей, как видно, давно не приходилось говорить об этом предмете, потому что он был уже давно известен всем, кого она видела, — так через полгода-то ей было занимательно припоминать старину, — потому она, несколько секунд помолчавши, и продолжала, не заметив, что я собирался протянуть руку к моей фуражке; а когда она заговорила, то, естественно, я оставил свою руку без движения, потому что учтивость требовала остаться и дослушать, — а время терпит; ну, я и остался. А если бы я ушел, то моя голова, хотя уже была приведена в некоторый беспорядок, но все-таки осталась [бы] в меньшем беспорядке, чем в каком была потом несколько времени.

Это была хитрая девушка. Я так думал, что все, что она до сих пор говорила, она говорила без хитрости, — а потом узнал, что она отчасти ввела меня в обольщение, — не насчет Бориса Константиновича и себя и своих отношений к нему: ведь это-то я все видел теперь своими глазами, значит, тут было дело явное, — а насчет своих родных: сильно замаскировала: «очень, говорит, хорошие люди, только, говорит, папаша магистерского диплома не имеет, как Борис Константинович, а мамаша, говорит, по-французски не очень свободно объясняется». — Ну, а Илья Никитич мне сказал на другой день: «нет, говорит, плоховаты, и мамаша, говорит, естественно, прижимала ее из-за женихов-то». — Ну, и я после сам увидел их: точно, Илья Никитич не обманул. А она замаскировала. Но как бы хитер ни был человек, шила в мешке не утаишь.

А точно, была очень вкрадчивая девушка, — такая осталась и в замужестве. Голос тоже у ней вкрадчивый: это все вот до сих пор говорила очень тихо, — чрезвычайно тихо, и несколько растягивая слова, — ну, это было уж от природы, певучий голос, — и теперь такой. А чрезвычайно тихо она говорила уж собственно потому, что предмет был такой, — а вот заговоривши-то опять, после-то перерыва, стала говорить живее и громко, потому что предмет пошел, хоть о том, только другой.

— Впрочем, я не могла, — продолжала она после небольшой паузы, которой я не успел воспользоваться, чтоб уйти, — прямо говорить о главном вашем обвинении («о каком? не припомню, — потому это пустяк, но если б учтивость позволяла, я бы сказал тебе, Лизавета Антоновна, что нечего говорить о том, о чем не стоит говорить») против меня. При Борисе я не могла говорить, потому что он очень щекотлив в этом отношении: он каждый раз огорчается, когда об этом говорят, и даже мы не можем растолковать ему, что это в умном человеке, что это даже стыдно: не понимает. А без этого нельзя объяснить («Да нечего

объяснять-то»). Безумие в чем? — отдалась любовнику? — начала она чрезвычайно тихо, как прежде, но постепенно возвышая голос, теперь уже говорила, как мы все говорим обыкновенно, когда говорим об обыкновенных предметах. — Вы согласитесь, что если страсть не говорит ничего, то голос рассудка слышнее. Борис никогда не нравился [мне]. Это он знал, потому что знал мою разборчивость: мне нужно красивые черты лица в мужчине. Посмотрите на Сапожникова, — вы согласитесь, что он хорош собою, — я могла бы сказать больше: он красавец; но это могло бы подать повод к спору, потому я говорю только: он очень хорош собою. Только при этом условии я могу иметь сношения с мужчиною («Сношения?» — господи помилуй! — разговор начал становиться необыкновенен). — Теперь: попробуйте стать перед зеркалом и посмотрите: он так же дурен собою, как вы («прекрасно!»). Он знает, что он дурен собою; но он обижается, когда напоминают ему об этом, — вот почему я не могла говорить при нем. Есть люди, которым мое лицо нравится; одному — даже очень, это факт, я не могу против этого спорить. Но это не возражение: вкус Бориса гораздо разборчивее, чем вкус Сапожникова. Он не мог хотеть сношения с женщиною некрасивою...

— Ну, это — я не знаю, как вам сказать, — сомнительно, — сказал я очень бойко, — и как сказал, тотчас же и уразумел, что я сказал: «нет, Лизавета Антоновна, я полагаю, что он имел с вами связь», — но когда я произносил мои слова, я думал совершенно о другом, — и она так и поняла, как я понимал, когда говорил.

— Это странно, я не могу отгадать, о ком вы говорите. Наташа — очень хорошенькая — горничная m-elle Желтухиной; — Саша — была еще более хорошенькая — это факт; вы, может быть, не знаете, что в магазине Gozlan стали покупать вдвое больше перчаток, с тех пор как Gozlan женился на ней. Но чего наверное не знаете, это то, что я целовала ее ручку. Нет, вы не могли говорить о Саше.

— Тем больше, что я не знал, что существует Саша, — сказал я и подумал: «господи, вот разговор! — И до чего мы договоримся?» И дал разговору такой решительный [оборот] — я, с которым молодые люди не говорят об этом, потому что я говорю им: «нехорошо», — единственный предмет, о котором говорить со мной не смеют, в котором боятся меня, — потому что я тут действительно суров и читаю мораль не хуже Паскаля, — да и держу себя так, как едва ли десять человек в Петербурге. — Что это такое? Да чего мы договоримся?

— Это странно, — о ком же вы могли говорить? Скажите. — Она задумалась. — Ах, боже мой, как же я не догадалась! — о моей сестре.

— Я.. — (Творец небесный!)

— Нет, вы говорили, это ясно. Вы находите, что она не хороша собою. И я также. В этом мы с вами сходимся. Впрочем, если вы думаете, что она была его любовницею, вы ошибаетесь.

— Нет, я этого не думаю. — («Слава тебе, господи!»)

— Но он хотел иметь сношения с нею. Это так. Но это не возражение. В моей сестре есть то, что очень много заменяет красоту для людей, подобных Борису, — даже кажется им красотой: у ней очень сладострастное лицо. Вы видели картины, на которых нарисована разметававшаяся вакханка, — припомните выражение лица: то самое. Это называют томностью, — это неверно. Томны бывают по временам всякие глаза, и только по временам, когда чувство волнуется; сладострастны бывают глаза постоянно — и при холодности чувства, — и далеко не у всех...

Для меня этот предмет разговоров не занимателен, хоть я знаю очень твердо: в науке он очень интересен и важен; — в жизни прекрасен или гадок, благороден, как очень немногое другое, или ужасен, — во всяком случае, интересен и важен; в искусстве — очень часто гадок, чаще всего — глуп; но в разговорах — скучен, по крайней мере для меня, — а я не охотник скучать, потому, — я занимался учеными вопросами и рассматривал картину.

Да, я видел картины, — в этом не ошиблась моя скандальная собеседница, — только картины были не те, — не разметававшаяся вакханка, — а комната, в комнате стоял стол, на столе лежали бритвы, в комнате сидел ребенок и играл. Он сидел очень далеко от стола. Он был очень занят своею игрою. А личико уменьшкое. Не было никакой причины полагать, что он схватится за бритвы. — А если? — Кто это брился? — Очевидно, родственник ребенка, — отец, дядя, брат. Ясно, что он не желал, чтобы ребенок зарезался. Зачем же он оставил бритвы не запертыми в ящик? — Это так. И зачем ребенок в этой комнате? Ребенку следует быть в детской, зале, — мало ли комнат, где нет бритв; зачем же он в кабинете? — Это так. — Это так, — но это все вопросы; вопросов обо всем можно сделать много; например, сколько лет? — Если пять, — опасно; если десять, — не беспокойтесь. А и в десять лет — тоже ребенок, не взрослый же человек. — И тоже: а есть ли где сидеть этому ребенку, кроме этой комнаты? — если есть, то ведь очень вероятно, что он и сидел бы не здесь; — а если ему негде сидеть, кроме как здесь, то где же ему сидеть? не на улице же? — И это, опять, все только вопросы.

Вопросы... есть разные вопросы. Например: была компания; много говорили; один из этой компании сказал: «чистому все чисто». Вообще эта компания говорила не то, что говорят теперь история, психология, потому что люди этой компании были люди неученые и пылкие, а наука холодна. Это факт. Но они были люди, наблюдавшие жизнь, умные; потому говорили много и та-

кого, что говорит наука. Вопрос: подтверждаются историею и психологиюю слова одного из них: «чистому все чисто»?

Другой сказал: «и если они выпьют яд, он нисколько не повредит им». — В каком смысле он сказал это? — это вопрос. — Но правду ли он сказал, это не вопрос: он испытал это на себе, это испытали многие из мужчин и многие из женщин, здоровье которых он очень хорошо знал; он только выразил факт.

Опять рассматриваю другую картину. По берегу реки ходят двое: взрослый и ребенок; ребенок оступился в реку, он утонет, это несомненно; но оступится ли он в реку, когда он идет об руку со взрослым? — «Но взрослый — сумасшедший». — Это еще вопрос; что он одет не по-моему, — это факт; что он честен, — это факт; что он умен, — это факт; следовательно, он ли сумасшедший, — или я глуп, — это еще вопрос, и даже едва ли сомнительный.

Но по части [учености] я тоже ведь и сам по крайней [мере] половину собаки съел, потому ученые вопросы для меня не головоломны, — больше, развлечение; — потому переборка их нисколько не мешала слушать болтовню моей собеседницы, — потому что она говорила уже очень бойко и быстро, и хоть у ней-то слова бежали быстро, а мои мысли еще гораздо быстрее, потому что они были ученые, — а в учености я как по рельсам несусь: покуда она сказала два десятка слов, а уж я пересмотрел все картины и вопросы: на это я хорош.

Но еще одно: я, по совести, не могу сказать, чтобы во мне вовсе не было хорошего; да оно есть и во всяком; но хорошее во мне перемешано с дрянью, — и это не редкость в людях; — так что хорошее, а что дурное, это уж извольте разбирать сами, — но это вообще, а в частности, я говорю к тому, что размышлял-то я по одному тону, а потом вздумалось мне позабавиться в другом тоне, и от этого вышел новый оборот, — итак, я говорю, моя собеседница болтала, а я так себе подумывал кое о чем от скуки, внимательно слушая:

— ...сластолюбивы бывают глаза постоянно, — и при холодности чувства, — и далеко не у всех, — болтала моя собеседница: — но из этого ничего не следует относительно условной морали: женщина сластолюбивая может держать себя безукоризненно относительно условной морали, — например, быть верна мужу в обыкновенном смысле слова; потому что она очень может быть и холодна и расчетлива, — это даже чаще всего бывает. И в таком случае она не пойдет на риск измены в обыкновенном смысле слова, потому что это не расчет для нее, — она не будет иметь любовников. Я даже полагаю, что моя сестра именно такова. Вы как думаете?

— Да, я думаю, что она неспособна изменить мужу, — сказал я. Необходимостью отвечать и прервались мои размышления, — а моя собеседница продолжала:

— Не может; потому что слишком расчетлива. Итак, еще ни-

чего не следует из того, что она сладострастна; но сладострастное выражение лица заменяет красоту для людей, которые сами тоже сладострастны. А именно таков Борис. Вот почему ваше возражение...

Перестав размышлять, я не мог же не заняться чем-нибудь от скуки и занялся тем, что стал в мыслях хохотать, — и занялся разговором:

— Да, мое возражение не имеет силы. Я сделал его только потому, что не знал, что Борис Константинович сладострастен. Неужели?

— Да, он очень сладострастен; он не может жить без женщин. Конечно, с вами он не станет говорить об этом. Но вы не поверите, до каких глупостей он доходит. Наташа не позволяет ему делать глупостей: она девушка с характером. Но Саша иногда прибегала ко мне в комнату искать защиты. Она сама не сладострастна, но любила его и позволяла ему дурачиться. Вы не поверите, какие глупости он делал; она мне все рассказывала. Ах, как они шалили! Впрочем, это извинительно: в ней все так очаровательно.

— А в вас этого совершенно нет, чем привлекала к себе ваша сестра?

— Сладострастия? Нет, совершенно никакого. Вы видите.

— Поэтому вы не могли привлекать Бориса Константиновича; но Сапожников?

— Да, у него другой вкус: ему нравится выражение в лице.

— То есть я хотел спросить: он сладострастен?

— Он? О, нет,нисколько, — и вдруг покраснела, — вы смеетесь надо мной. — Вы такой же, как моя сестра и ее муж.

— Это хорошо, что вы остановились, Лизавета Антоновна, — а то я уж собирался спросить вас, почему же вы знаете, что Сапожников, — а дальше, почему вы знаете, что вы не сладострастны. Ведь вы говорили бог знает что такое, Лизавета Антоновна, — чего никак нельзя говорить, о чем никак нельзя говорить.

Я хотел дать ей урок, — и думал, что дал: она задумалась.

— Я вижу, что заставила вас дурно думать о себе.

— Нет, Лизавета Антоновна, не заставили. Я уж очень давно думал о вас дурно, — когда не был знаком; а теперь вижу, что напрасно ду...

— Незачем, Борис, щекотать меня, когда занялись теперь делом. — Хлоп. — Что, спрятал руку-то. Для этого есть другое время, — послышался голос из другой комнаты: — довольно шалили. Mais, madame (очень плохим французским выговором), nous ne pouvons vendre cette robe pour moins que cent cinquante roubles*.

* Но, сударыня, мы можем продать это платье не меньше, чем за сто пятьдесят рублей.

Голос был женский — еще бы не женский. Я сообразил, что он должен принадлежать Наташе, — это уж было все-таки наилучшее из всех возможных предположений, — ведь было бы еще хуже, если бы он принадлежал старухе, которая вызывала Бориса Константиновича. — *Je vous les donnerai **, — отвечал Борис Константинович.

— *Vous ordonnez, madame, que je mette... *** — Голос становился тише, и я перестал его слышать.

— ...мал так, — продолжал я, не останавливаясь, потому что не обязан был участвовать в том разговоре. — Совершенно напрасно, это слишком хорошо видно. Но, Лизавета Антоновна, такие разговоры, как вы сейчас вели со мной, — такие мысли...

— Вы хотите сказать, неприличны для девушки, — я теперь это вижу. Скажите больше: опасны, вредны, сами по себе дурны, — я соглашусь. Как же не согласиться? Ведь я не дура. Но я не понимаю, что со мной сделалось. Это было в первый раз. Позвольте, дайте, я подумаю. Надо подумать.

Вот тебе раз! — Это было в первый раз, — да какими ж это судьбами в первый раз?

— Ну, позвольте, Лизавета Антоновна: — как же это в первый раз? Мы с вами не понимаем друг друга. Вы должны были говорить об этом предмете много раз — вы говорите, как замужняя женщина, — с таким знанием дела. Извините, что я так говорю.

— Ах, ничего, полноте, охота вам извиняться.

— Точно, напрасно, — ну, да привычка. Так я сказал, вы говорите об этом, как замужняя женщина, да и вы сами сказывали, что Саша вам все рассказывала. Ну, да и сейчас, — что у вас за стеной делалось?

— Теперь-то я уж поняла, — сказала: — из ваших же слов, — вот это и показало. Это совсем не то. Я вам расскажу, и вы увидите. С Наташею я ничего об этом не говорю, — мне нет надобности вступаться в ее отношения к Борису. Я вам говорила, она девушка с характером, умеет держать его в границах, чтоб не надоедал ей: вы слышали, как она хлопнула его по руке: делом заниматься, так нечего дурачиться. Ну, а когда шалят, то шалят, но скромно, — до меня никогда не доходит. Но при Саше много доходило. Однажды она сидела у него, — я и не знала, что она тут, — потом пришла ко мне, я увидела, что она не в духе. Спросила, отчего это; она сказала, что [он] надоел ей своими глупостями, — как же не рассказать? и потом, как он надоест, она идет ко мне, жалуется, просит, чтоб я говорила, чтоб он меньше дурачился, — он и обещает, но не может, потому что у него такой характер, а ведь она чрезвычайно хорошенькая, — если бы

* Я вам их подарю.

** Вы приказываете, сударыня, чтобы я положил...

вы видели, какая у нее грудь — это прелесть, — я целовала сама, — беленькая, прелесть! — Мне нельзя было не знать, когда она жаловалась, — и смешно, и жалко ее, потому что надоедает ей, — как не вступиться? — Вот вам и все; но — конечно, не все; конечно, с ним я гораздо больше говорила, чем с Сашею, — с ним мы говорили целые вечера, — но уж, конечно, не о глупостях же, — он очень умно говорит об этом, — очень умно, — только сам делает глупости, — ну, да ведь это часто бывает [не] в этом одном, а во всем, что люди говорят умно, а делают глупо. С другими — ни с кем, потому что это никому не интересно. Вот вам и все, — вы видите, что это совсем не то.

— Да как же не то, когда все то же, и сейчас то же самое говорили, — все повторили, да еще с прибавкою, что у Саши грудь белая, что мне вовсе не интересно, — точно так же, как не интересно, какая она...

— Ну, уж вы и рассердились, — какая у кого, — у меня, — разумеется, знаете, что белая, потому что лицо белое, — конечно, знаете, потому что ведь вы не маленький. И, конечно, для вас это не интересно, потому что я полагаю, и вся-то я для вас не интересна. Конечно, в этом не было надобности, какая грудь у Саши, — ну, это лишнее, я согласна; но пришлось, что за важность. Но как же вы не видите, что это совсем не то.

— То же самое, все то же самое, — сказал я с досадою.

— Ну, так нет же, я вам скажу и прямо, только уж не жалуйтесь же на меня. — Ну, скажите, — она начала эти слова с досадою, но потом постепенно утихала, — говорила все ровнее и тише и под конец совершенно тихо, как говорила при самом начале разговора. — О чем мы вообще говорили с вами, что мы здесь делали, — вообще, кроме тех слов, при которых я, — покраснела или нет?

— Покраснели.

— Я так и думала. Давно уж не краснела, и не хочу.

— Это уж напрасно. Когда девушка краснеет, это мило.

— Ну, мило. Если мило, то чтобы тот, кого любишь, мог найти, что это мило, то для этого есть другие средства: можно выпить рюмку хереса, — тогда будет румянец; а как я нравлюсь тем, кто мне не нравится, это я полагаю, все равно для меня. А краснеть от стыда — это неприятно, потому что что же приятного быть в неловком положении. А ведь вы в такое поставили меня. Вам, что ли, было мило, что я покраснела? — Вероятно, все равно. Да вы все отвлекаете. Не мешайте, иначе никогда не кончим. Зачем вы приехали? — Я понимаю это. Вы хотели узнать лично, дурная я девушка или нет. Эта цель ясна. — Зачем вам нужно было это знать? — Я не знаю, но я предполагаю, — и не ошибаюсь: вы знали, что я, так или иначе, нахожусь в близких отношениях к людям, которым вы желаете добра. Вам показалось, что вам надобно узнать это для пользы кого-нибудь из них, —

вероятно, Сапожникова, — и вы приехали увидеть, не гадкий ли я человек. Должна я была принять вас? — Конечно; вы имели право осмотреть всю мою душу; я давала вам раскрывать и разглядывать ее как вам угодно: прятала ль я от вас что-нибудь, — уклонялась ли от исследования чего бы то ни было в ней? — Нет, вы этого не можете сказать. Приятен ли был для меня ваш осмотр? — это вопрос, который можно решать различно. Если тщеславия во мне больше, чем гордости, — приятен, потому что я надеюсь не проиграть от осмотра; но если гордости во мне больше, чем тщеславия, такой осмотр очень не приятен, — это понятно. Но приятен ли он или нет для меня, — неприличен ли он? — Нет. Зачем он делается? Для чьей-то пользы. Это нужно, это полезно, — что тут неприличного? Делается и гораздо больше, без всякого неприличия. Я выхожу замуж и надеюсь иметь детей; если это будет, я приглашу акушера; вы находите неприличным это мое намерение, или нет?

Она остановилась. Я промолчал. Она продолжала.

— Итак, в этом мы согласны. Но есть вещь, гораздо худшая, чем неприличие, хотя часто совершенно приличная. Это — оскорбление. Не был ли для меня оскорбителен ваш осмотр? — Нет, вообще я должна сказать: я не находила в нем ничего оскорбительного с вашей стороны для меня. Отчасти самым своим при...

— Хлоп!.. тнан, — послышалось из другой комнаты. — Даже больно руке, Наташа. Maintenant. — Ментенан. Так тебе и надо. — Maintenant. — Мэнтэнан. — Maintenant. — Мент нант. — Maintenant. — Main тенан. — Maintenant. — Мэнтнан. — Maintenant. — Мэн tenant. — Почти хорошо. Maintenant. — Мэн tenant. — Maintenant. — Мэн tenant. — Maintenant. — Maintenant. — Вот теперь хорошо, Наташа. Maintenant. — Maintenant. — Maintenant. — Maintenant — так, Борис? — Так. — Ну, теперь я одна. Maintenant; maintenant; maintenant; maintenant. — Хорошо, хорошо. — Maintenant; maintenant, maintenant. — Ну, довольно? — Да, устала. Садись сюда. — Начавши слышаться после хлоп! — очень громко, сообразно этой основной ноте, поднявшей тон, дуэт начал становиться опять тише и тише, когда Наташа произнесла maintenant как следует.

...ездом, отчасти вашими словами, вы вызывали меня на объяснения, — говорила Лизавета Антоновна, а я слушал без прерыва монолог в нашей комнате, — как вы хотели слушать их, когда ехали сюда, я не знаю; полагаю, оскорбительным для меня образом; — но если вы имели это намерение, вы бросили его при входе, — я и ждала, что вы его бросите. Почему ждала? — потому, что я не предполагала вас слепым и глухим; вы увидели, что перед вами не обманщица, и вы слушали, как должно: добросовестно, по крайнему вашему разумению, старались вникать в смысл моих слов, и точно так же судить о них. Вы поступали со

мною добросовестно, — чем же вы могли оскорбить? — Я не слепа, я видела это. И потому очень скоро я увидела, что? — то, что я показалась, — глупа или умна, безумна или нет, это все равно, не в этом [дело] — добросовестна. Так ли? — Скажу больше: показалась вам очень благородна. Так ли? Да, вы должны молчать, это видела. — Что вы думали о вопросе, по вашему мнению важном, разрешать который вы приехали, это другое — но если вы хотите, я вам скажу, что вы думали и об этом: мать, которая так твердо убеждена в чести своей дочери-девушки, как были вы в моей, очень счастлива. Но не в этом важность, — важность в том, что я казалась вам человеком очень благородным, как я сказала, — каждое слово которого заслуживает безусловного доверия. — Что вы знали совершенно твердо? — то, что я не хитрю. — Эта уверенность была написана на вашем лице. — Чего я должна была ждать от вас? вы с самого [начала] держали себя со мною добросовестно и с каждою минутою убеждались все больше, что со мною и следует так держать себя, вы будете так держать себя. Что ж я вдруг увидела? — Что говорите со мною, как с плутом, которого хотят уличить в воровстве. — Что вам было угодно узнать от меня? — мой темперамент? — Нет, вы видели его. Темперамент Сапожникова? Вы видели его. — Да это и не интересно, ни для вас, ни для меня. Вы не то, что хотели узнать от меня что-нибудь. Я вам скажу, что вы сделали. Я употребила слово «сладострастный» — оно показалось вам смешно в устах девушки, чистой, благородной, — только смешно, — не больше. Ведь вы знали, что оно значит для меня, — «томный», «любящий ласкаться и ласкаться», — но видите, тут четыре слова, — мне случилось заменить их одним. Вы знали, что только. Вы знали, что я говорю этим словом меньше, чем говорится словом кокетливый. И что же вы заставляли меня говорить? — Вот что: «я развратница». Угодно ли было знать, развратница ли я? Вы меня считали такою, пока не видели. Вы приехали затем, чтобы узнать, такая ли я. Но вы уже убедились, что нет. А вы заставили меня сделать это признание. Зачем и как? — Зачем? — не затем, чтобы убедиться в этом, — нет, вы уже не могли этому верить, хоть бы я стала прямо уверять в этом, — уж нельзя было верить этому. — Как заставили? — Обманом, игрою в слово «сладострастный». С какою целью вы это делали? — Посмеяться. — Что из этого выходило? — Вовлечение меня в такой разговор, который должен был уменьшить во мне уважение к самой себе, выставить меня передо мною же самой девушкой легкомысленной, пустой, готовою болтать сальности. Как удалось вам заставить меня говорить в этом тоне? — Вы застали меня врасплох, — воспользовались тем, что я никак не предполагала возможности такой попытки. Точно так же вы могли бы достичь другого такого же успеха. Мы были одни. Вы могли разорвать застужку этого пеньюара, — я не была приготовлена к тому, чтобы обороняться

или увернуться от внезапного движения вашей руки, и открылась бы моя грудь, — и тогда, опять играя словами, вы могли бы смеяться над тем, что я эманципированная девушка, и что потому мужчина может раскрывать мою грудь. Правда ли, могли бы? Буквально, могли бы: была бы опять игра слов: «может» — ведь это также значит и: «она позволяет, она довольна, она рада». — Оскорбляйте, вы можете, — мы одни, — вот что я сказала бы вам, если бы я говорила это тотчас после тех слов, от которых я покраснела, — но после них ведь мы долго говорили с вами, [прежде] чем договорились до этого объяснения моей и вашей ошибки, — и моей, потому что вы человек старого поколения, я должна была все-таки не доверять вам, этот разговор успел загладить ее.

IX

Беседа получает другой характер, уже несколько не скандальный, но тем [не менее] изумительный и сохраняющий прежнюю необыкновенность без всякого ущерба

Я чувствовал себя очень плохо:

«Оскорбляйте, вы можете, — мы одни».

— Да что ж это, неужели я в самом деле заслуживаю, чтобы ко мне обращали такое слово? Ведь я же, наконец, не Ноздрев, не его приятель Кувшинников, не Пирогов «Невского проспекта». Что ж это такое? — Это больно, — как же это? — Это больно! — я чувствую, что я не заслуживаю этого, — что ж это? — Это жестоко!

А между тем, каждое слово — правда, чистая правда. Я думал о ней дурно, — приехал видеть, точно ли она не дрянная обманщица, — она это понимала, это было очень щекотливо для нее, и она не обиделась, рассудила, что не следует обижаться этим, — «извольте, посмотрите, кто я», — я приехал с мыслью, что она плутовка, что с нею надобно держать ухо востро, — посмотрел: да, помилуйте, это прямодушный ребенок, — ведь это ж видно, — только этот в рискованном положении, болтает вздор, которого не понимает, воображая, что понимает, как все дети, — но ребенок уступчивый, соглашающийся на все рассудительное, что ему скажешь, — и очень благородный ребенок. — И я, воспользовавшись доверчивостью, оплошностью, завел его в сальности, для своей потехи над его наивностью, — для такой потехи, которая унижала его и в моих, и в его глазах, — точно, я сделал совершенно то самое: поступите со мной, как поступают пьяные негодяи с женщинами, попадающимися им на глухих улицах, где мало прохожих и нет полицейских, некому защитить, — поступите так, разорвите на мне пеньюар, — это легко сделать:

«Оскорбляйте меня, вы може[те], — мы одни».

Эти слова звучат в ушах, а внутренне хор духовный отвечает пением:

— Аксиос, Аксиос,
еже толкуется с еллинска словенским языком, иже и русский:

— Достоин, достоин.

А ведь между тем я понимаю, что в самом-то деле преступление мое не так ужасно, — то есть, что ведь я же не мерзавец какой-нибудь. — Но ведь в том дело, что она так приняла, — ведь в ее голосе негодование. «Ну, подите-ко, толкуйте теперь с нею, что я не изверг рода человеческого, — а кроме-то шуток, мне стыдно, и очень стыдно перед нею. — Тьфу ты, дьявольщина, что за Ловлас такой проявился в моем лице. — Недостает того, чтобы из другой комнаты раздался дуэт: — Седюктер * — Séducteur — седюктер — Séducteur, Séducteur, Séducteur, Séducteur, Séducteur Séducteur, да какой же я Séducteur, когда из той комнаты такие дуэты несутся, — ведь серьезно-то говоря, я не больше, как поддался влиянию этой атмосферы, в которой сижу только еще один час, — я, человек солидный, опытный, немолодой, строгий моралист, суровый, — вот как эта атмосфера подействовала на меня в один час, — что ж удивительного, что я ошибся, предположив, что отразилось ее влияние хоть на складе мыслей девушки, которая вот уже полгода живет в ней; — да и что ж такое, наконец, сама эта девушка, которая осталась так чиста в [такой] обстановке, — что она осталась чиста и благородна, в этом нет никакого сомнения, — но именно потому, что она осталась чиста и благородна, она не живой человек, — это фантом, бестелесное существо. — Ведь мы с нею уже объяснились, что у ней белая грудь, что я должен это знать из физиологии, — она в горькую-укоризну, будто [я] Кувшинников, [предлагала] раскрыть ее грудь, — нет, хоть бы я был Кувшинников, эта грудь была бы для меня неприкосновенна, — потому что священна, — и [для] Кувшинникова есть святыня, — я знаю это, что твоя грудь бела, — я знаю о ней и больше, — у тебя белая грудь,

И молчит, не стучит твоя белая грудь,
Не стучит, и как лед холодна.

— Ты мертвец! — Неужели фанатизм может умерщвлять тело до такой степени? — Я сам отчасти мертвец, — я знаю эту штуку, — я тоже фанатик. Это дело известное, я не скрываю его, — но... но... не только для живого человека, — и для меня ты ужасна!

Эти размышления продолжались довольно долго, — быть может, минут пять было молчание. Она сидела опять спокойная, как ни в чем не бывало.

— Ну, что же, раздосадовала вас? Да ведь сами же вызвали меня на это объяснение? — сказала она, видя, что от меня не дожدهшься: — ведь я же с того и начала, что не досадуите.

* Седюктер (франц. séducteur) — обольститель, развратитель.

Он добрый, этот мертвец. Я смотрел ей в глаза: добрые. Но мертвец; она даже не поняла, отчего я молчу, — что мне стыдно, что мне совестно перед нею, — ведь это чувства сердца — как ей понять их, — она понимает только, что можно досадовать, то есть немножко злиться, потому что вражда бывает и умственная, не нуждающаяся в сердце, — вражда фанатизма, из-за разницы в убеждениях. Я был убежден, что я не обижал ее, а она разрушила мое убеждение, — вот, по ее мнению, я, если угрюмо молчу, то это значит, что я чувствую то, что опровергнутый ученый чувствует против человека, опровергнувшего его теорию, — как Шеллинг сердился на Гегеля. Это ей понятно. А она добрая, она, пожалуй, будет просить извинения, чтоб я не имел досады, — ведь она добрая: ей даже жалко меня, — это чувство она знает.

— Простите, что я скажу, Лизавета Антоновна: я медлил ответом, потому что был смущен и расстроен; — чем, это будет непонятно для вас; но поверьте, не досадою, — напротив, я глубоко скорблю о том, что оскорбил вас; отчасти я был расстроен и этим; но еще больше я был расстроен другим: вы добрая, вы благородная, вы чистая, — про чистоту вашу что говорить: мне совестно, что я когда-нибудь и сомневался в этом; — и вы безопасны здесь — вы могли бы жить и не здесь — где угодно, хоть на улице, — соблазн не может коснуться вас, — но вот это-то меня и смущает; но это все равно, это я даже сказал лишнее, — не следовало, — а я хотел только сказать: мне очень горько, что я огорчил вас, — потому что чрезвычайно уважаю вас, — но я боюсь вас.

Кажется, я сказал и ясно, и честно, — и неглупо, — я прошу читателя обращать строгое внимание на мои слова в этом разговоре, потому что я на этом разговоре был пойман, и пойман серьезно, страшно; — я не хочу эффектировать предсказыванием неопределенных ужасов; жизнь моя не подвергалась опасности, но ведь есть и кроме жизни многое, чем дорожишь, — я был через несколько времени на один шаг от того, чтобы быть оплеванным всеми, как гнусный лицемер и развратник, когда горжусь тем, что я держу себя безукоризненно «в смысле условной морали», — говоря языком Лизаветы Антоновны и Бориса Константиновича, — я, который действительно феникс благодравия, был очень скоро на шаг от того, чтобы быть обращенным в Тартюфа. Лизавета Антоновна тут не участвовала ни словом, ни делом, ни именем, — она действительно была чиста и благородна. Я попался не в ее руки, — и вообще, не в женские руки. Имя Лизаветы Антоновны не было бы упомянуто вместе с моим; она осталась бы так же чиста и благородна, как была; но и она подвергалась серьезной опасности. Она не могла пострадать вместе со мною, — нет, кто-нибудь из нас один: или она, меньше, но тоже много, или я, очень много. У меня и у ней был один и тот же враг, — уж само собою, не Борис Константинович, — он был

ее другом, искренним; ну, и тем меньше, Сапожников, который женился на ней. Мне не желал вреда никто из лиц, которых имена попадались в этом рассказе. Но очень знакомый голос сказал мне: «ты видишь, что на шею твою надета петля?» — Я не струсил — не растерялся, — рассмотрел внимательно, холодно, — скажу даже: мужественно, — вижу, точно: на моей шее петля. — Мне сказали: «мы можем одним движением руки затянуть эту петлю, правда ли?» — «Совершенная», — сказал я, думая: пропадать, так пропадать, и не зная только, зачем же меня хотят давить, и хладнокровно отдаваясь на гибель, неотвратимую, — потому что злоба казалась для меня непримирима. А мне без всякой злобы сказали: «откупись» — я и откупился, потому откупиться от петли — тут стыда нет. Эта петля взята вот из этого моего разговора с Лизаветой Антоновной. — Отыскивайте ее, читатель, мне хочется, чтобы вы отыскивали ее, потому что тогда, я уверен, вы скажете: он написал хороший роман. Если же не отыщете, то не вините меня за то, что я тогда не заметил ее. Смотрите, где я сделал какую ошибку в своих словах? — Я говорил, как мне и теперь кажется, — и тогда казалось, дельно, честно, неглупо, — разберите, кто мог суметь сплести мне петлю из этого честного, хорошего, по моему мнению, разговора? — Не кто-нибудь из тех, на кого бы подумал я, если бы был человек глупый: не Лизавета Антоновна, не Борис Константинович, — они не были виноваты, я это видел, — да и нельзя было не видеть, — да и они люди честные, неспособные вредить мне и вредить дурно. Нет, их не виню, — я сам свил ее на себя. Но не спешите винить меня, — мне казалось, что я не делал ошибок. Открыть их трудно, очень трудно, — не смею рассчитывать, что вы найдете их, — а мне хотелось бы этого, потому что это было бы выгодно для моей репутации. Предыдущие и следующие страницы — мой разговор с Лизаветой Антоновной — заключает в себе очень много очень глубокого психологического анализа. Я не в состоянии был бы его сделать. Я только запомнил его, — не больше. Анализ этот <сделан> рукою природы: я только испытал его на себе и запомнил. Ошибок моих я сам не мог найти и тогда, когда уже пострадал за них. А мне хотелось найти их, потому что это любопытно в психическом отношении. Когда опасность прошла, я на досуге целый вечер занимался этим, — и бился безуспешно над этою работою. Один из моих друзей, которого я назову после, помог мне отыскать их. Один он также едва ли отыскал [бы] их. А он тоже человек не глупый. Значит, это работа не очень легкая. Займитесь ею, это любопытно.

Мои слова важнее, чем слова Лизаветы Антоновны; но и слова Лизаветы Антоновны имеют лишь ту важность, что без нее, конечно, не с кем было бы говорить. Я вставляю это длинное и важное замечание здесь по двум причинам: первая, важная; вторую я имею в виду лишь для некоторых — надеюсь, немно-

гих — из моих читателей. Первая причина та, что во второй половине разговора я делал больше ошибок, чем в первой, — значит, здесь и уместнее говорить о них. Вторая та, что во второй половине разговора нет уже ничего сколько-нибудь скандального, — оно и в первой половине неважно, — оно только кажущееся и там, — а здесь уж нечего и искать его: его нет, эта половина разговора была скромна и по словам, не по мыслям, а мысли — мысли у нас обоих были очень чистые, мы и оба были люди строгой нравственности, и решительно не нравились друг другу, — а в этот период разговора мы уж оба уважали друг друга. Я смотрел на нее, в самом деле, как старик на ребенка, — и точно, я был по душе старик уже и тогда для всех, кроме своего семейства, а она действительно была ребенок и влюблена в своего жениха, за которого через две недели и вышла, смотрела на меня, как на какого-нибудь родственника, вроде доброго дяди. — Сущность разговора в том, что сначала я ей читал мораль, а потом она отвечала мне, что она и сама точно так же думает об этом, как я, — и надеюсь, все добрые и развитые люди всяких убеждений, от католиков до атеистов, от Калифорнии до Якутска, через всю Америку, Европу и Азию. Мы говорили не о каких-нибудь спорных предметах, — сначала я о том, что жена должна любить мужа (ведь она выходила через две недели замуж за одного из моих друзей, — так вот я и толковал ей: любите его, у него нежная душа, его надобно ласкать, а вы, мне кажется, немножко холодноваты); а она мне стала говорить о том, что девушка должна быть очень осторожна, чтобы не повредить своей репутации, — это служило ответом на мои слова: ее положение было шаткое, пока она [не] помирится с родными (она и помирилась с ними дня через два, через три), вот и отвечала: я не могу не быть особенно холодна с женихом, — мое положение того требует, — например, девушка-невеста на глазах своей матери, конечно, была бы слишком чопорна, если бы не позволяла жениху целовать ее руку, — а я не могу этого позволить, потому что я здесь одна, подле меня нет старших родственников, и мой жених очень хорошо понимает это и не приписывает этого чопорности; он уверен и без целований моей руки, что я очень расположена к нему, — вы об этом не думайте, мы будем отлично (как и стали) жить. Вот сущность разговора, и на этих-то двух темах: «жена должна любить мужа» — с моей стороны — и «девушка должна держать себя очень скромно» — с ее стороны, я утوراгдился влезть в петлю. Согласитесь, что это любопытно в психическом отношении, когда и говорил-то неглупо, как мне казалось и кажется. — Прямо читать друг другу моральные нотации мы [не] имели права, — мы виделись в первый раз, — потому мы говорили шутливо, довольно живо, не очень скучали и всего больше оба думали о том, чтобы разойтись — она в свою комнату, а я домой. — Но ведь мы виделись в первый раз. Это было ве-

чером. Итак, я приехал просидеть вечер. Когда я ехал, я думал, что еду за делом неприятным, трудным, долгим: помочь девушке, выходящей за моего приятеля, заметить и отбросить те недостатки, которые вкрались в ее привычки, в ее разговоры от полугода, проведенного ею вне семейного круга; поэтому я и ехал вечером, — думал, что просижу в спорах с нею до 2, 3 часов; приехав, увидел, что исправлять ее не от чего, — и, конечно, очень обрадовался, что это избавляет меня от скуки и потери моего времени на пользу друга; но — ведь я был в первый раз, — а приехал запросто, вечером, значит, на целый вечер, — следовательно, слишком рано уехать — будет неучтивостью; надобно просидеть хоть часов до 10, — а между тем говорить нам не о чем, у меня дома — работа; — у нее в комнате — книга или шитье, то и другое для каждого из нас гораздо интереснее и важнее для каждого из нас, чем мы друг для друга; вот задача для нас обоих и состояла в том, чтобы как-нибудь тянуть разговор часов до 10, освободительного боя которых мы оба ждали с нетерпением. Чтобы как-нибудь убить скучное для нас обоих время, которое мы, по светскому обычаю, должны были просидеть в одной комнате, мы оба обратились к своим ресурсам, заменявшим у нас, как у людей все-таки начитанных, неглупых, разговор о погоде, о сенокосе, о дворне, о родне. У меня обыкновенным в таких случаях ресурсом были шутки над собою и над моим собеседником, если он человек неглупый, который не обидится, если шутка выйдет и не совсем удачна; я увидел, что она женщина простая, умная, бесцеремонная, — что можно шутить и над нею; она действительно и не обижалась этим. У ней ресурсом было резонерство, очень натуральное и извинительное в 18-летнем ребенке, для которого дельные книги — еще новость, истины, всем известные — еще новость, который поэтому готов иногда подробно доказывать, что земля обращается вокруг солнца, не успев еще привыкнуть встречать людей, не сомневающихся в этом, потому что все экзаминаторы просили еще очень недавно этого мальчика или эту девочку доказать это, — вероятно, потому, что сами сомневались, обращается ли земля вокруг солнца. Дети все резонеры, ужасные резонеры, — это естественно и извинительно, — их лета такие, что им все в диковинку, — и то, что снег зимою выпадает, все еще диковинка, потому что они еще мало раз видели это.

Вот сущность второй половины разговора, который следует за этими замечаниями. Замечания эти, вероятно, будут полезны только немногим из читателей, — вероятно, лишь некоторым из живущих в глуши, незнакомых с манерою разговора петербургского образованного общества, — для всех остальных и без всяких замечаний легко отыскивать ее под светскою формою, которою скучающие друг с другом люди стараются прикрыть свою скуку от своих собеседников, а главное, от самих себя, чтобы другим

казалось не слишком скучно, и самому точно так же не слишком скучать. Форма эта состоит в утрировке, в том, чтобы вместо «вы холодноваты» говорить: «вы ледяная женщина», — вместо «мне нравится опера» — «я в восторге от оперы», и т. п. — Впрочем, полагаю, что эта манера не должна сбить никого и в глуши, — вероятно, она теперь очень известна в каждом захолустье.

До сих пор я в некоторых местах говорил о себе в этом рассказе шутовским тоном, потому что был лицо постороннее действию, только свидетель и слушатель, которому ни тепло, ни холодно от того, о чем он рассказывает; которому поэтому есть охота и веселье, чтобы балагурить. Но теперь я сам впутываюсь в ход интриги, которая до сих пор не касалась меня, — потому я перестаю балагурить над собою, — пишу о себе серьезно, уже как и следует о действующем лице. Вероятно, читателю [не трудно] отделить истину от балагурства в том, что я говорил до сих пор о себе. Но на всякий случай скажу.

В маковку меня никто не целует; при изречении мысли, что честный человек не будет сплетничать во вред женщине, я не принимаю вид Пифагора, открывшего свою теорему, потому что помню, что изрекаемая мною истина известна со времен подлинного Пифагора и второго Пифагора не требуется для ее открытия; необъжновенным трусом не считают меня; особенной храбрости никто во мне не замечал, и сам я в себе не замечал, — быть может, потому, что во мне нет ее, — а уж без всякого сомнения, потому также, что ни разу и не встречалось мне надобности выказывать ее, чему я очень рад; надеюсь, что и не встретится никогда. — Я действительно довольно рассеян, но в туфлях на Невский не ходил ни разу. Рассеянность моя от того, что я человек занятой, очень много работающий, — это не секрет и не похвальба, потому что «мню, яко самому миру не вместити пишемых мною книг», — я произвел на свет груды, горы печатной бумаги, — это известно довольно многим, что показывает, что я писатель не бог знает какой плохой, — но [известен] далеко не всем, даже и русским-то читателям, из чего я вижу, что я очень далек по таланту и гению от Шекспира и Ньютона, имена которых известны не только в России, но и за границею. Этого довольно, чтобы судить о ходе действия, насколько он касается меня, — потому что, само собою, ведь не стал бы я печатать в пору средних лет такие романы, в которых выставлялся бы мой интимный характер: это свойственно только детям. Но, с другой стороны, я и не институтка, чтобы совеститься сказать публично, что, например, года три-четыре назад мне был 31 год, что я человек не светский, что, впрочем, умею говорить с людьми обоего пола и всякого возраста, — полагаю, что во всем этом нет ни особенной чести мне, ни особенного стыда. Потому, когда я вздумал рассказывать факты сами по себе любопытные, свидетелем ко-

торых был, то и не затруднился тем, что я в одном из этих фактов был не только зрителем, а и актером, амплуа которого состояло в том, что другие, настоящие действующие лица, обнаружили в деле с ним свои характеры, — моя роль только в одной сцене, и в этой сцене только говорят мне: «желаешь ли, чтобы про тебя разошлась глупая болтовня?» — а я отвечаю: нет, не желаю; — на это мне отвечают: «ну, если не желаешь, то мы и не станем распускать ее», — только, больше ничего, — я полагаю, что эта роль так ничтожна и так ограничена одною пустою внешностью, что я не стыдясь и не гордясь мог не скрыть ее, когда это нужно для меня, как для романиста.

Итак, к делу. Положение: Л. А. Дятлова (само собою, что имя и обстановка этого действующего лица изменены, так что, кроме ее самой и ее мужа и тех двух общих ее, ее мужа и моих двух друзей, которых я называю Борисом Константиновичем и Ильею Никитичем Алферьевыми, — никто не узнает ее, — а мы все одинаково знаем дело и одинаково смотрим на него, — а искать, кто они — напрасно: даже то лицо, которое [я] назвал Серафимою Антоновною, не узнает в моем рассказе ни себя, ни Лизавету Антоновну, — а другие — и подавно; а посторонние — и тем подавнее, — искать некого; найти нельзя: предупреждаю об этом старых и молодых, с бородами и безбородых сплетниц. Ведь я пишу с серьезной целью, а не для болтовни. Кто читал до сих пор, думая, что читает болтовню, тот пусть бросит, потому что для такого человека чтение этой повести бесполезно: очевидно, что он не понимает ее, а непонятное чтение скучно), — итак, Л. А. Дятлова, молодая девушка, и человек средних лет (я), приятель ее жениха, видятся между собою в первый раз и находятся в середине разговора; перед этим было у них недоразумение: господин средних лет (я), по шутливости, которая была неуместна, вовлек девушку в резкие слова, окончательно убедившие его, что эта девушка — чистейшая и благороднейшая девушка; но в то же время он чувствует, что она сильно не нравится ему; чем, он еще не разберет хорошенько; девушка только что сделала этому господину очень сильный и основательный выговор за его неуместную шутку, — но нимало не сердится на него, — а выговор был очень силен; господин средних лет (я) видит, что девушка слишком холодна, и говорит ей это в шутливой форме.

Автор рекомендует читателю следить за ходом разговора с особенной внимательностью к тому, не говорит ли господин средних лет (я) чего-нибудь чрезвычайно глупого, такого, за что мог бы быть ошельмован в глазах каждого порядочного человека, — ошельмован не на шутку, как подлый негодяй; автору кажется, что этот господин средних лет (который был сам автор) не говорил ничего такого, — а между тем, он попался в опасность быть ошельмованным без всякого оправдания, — и через не-

сколько времени, говоря с одним из своих друзей, этот господин средних лет нашел, что он действительно делал такие ошибки, из которых вытекало ошельмование, грозившее ему.

Автору кажется, что это — любопытнейший психологический случай; кому не кажется этого, того автор просит и не читать дальше: повесть не стоит чтения для такого читателя.

Для ясности недурно будет повторить здесь последние строки того, что было уже раз прочитано перед этими замечаниями, за длину которых [автор] просит извинения у читателя, который не бросит читать. (Я несколько времени молчал после ее выговора, стыдясь того, что я, человек строгой нравственности, довел бедную девушку до того, что она сказала мне: «оскорбляйте меня, вы можете, мы одни», — ведь это слова ужасные, это значило назвать меня мерзавцем, с которым женщина не может оставаться наедине, а между тем, предлог к выговору был совершенно ничтожный, — и совершенно логически доказала мне, что я вполне не прав, я и размышлял, отчего это так, — размышления мои были там написаны еще с шутовством, потому нечего повторять их здесь, — девушка, видя, что я долго молчу, подумала, что я сержусь, и сказала «что вы сердитесь, — не за что». Я из этого увидел, что она не понимает характера моих размышлений, и тут уж я начинаю говорить о себе без шутовства, потому подшучиванье мое над собою — удачное или неудачное, это неважно ни для меня, ни для читателя, — но доставляющее мне удовольствие, — оно у меня в натуре, — становится неизбежным в ходе романа, — итак, эти следующие мои слова уже достоверны, — они действительно были мною [сказаны] так, как написаны в прежний раз в рассказе. С этих строк рассказа читатель будет видеть в этом авторе, в «я» уже действительного автора, как он есть, человека не замечательного, кроме того, что он хороший семьянин, человек мягкий относительно других и строго нравственный в своих поступках, а не прежнего шута, дурачившегося над собою в рассказе):

— Простите меня, Лизавета Антоновна, что я скажу вам: я медлил ответом, потому что был смущен и расстроен; — чем, это будет непонятно для вас; но поверьте, не досадою: напротив, я глубоко скорблю о том, что оскорбил вас; отчасти я был расстроен и этим, но еще больше я был расстроен другим: вы добрая, вы благородная, вы чистая; про чистоту вашу, что и говорить: мне совестно, что я когда-нибудь и сомневался в этом; — и вы безопасна здесь, — вы могли бы жить и не здесь, — где уютно, хоть на улице, — соблазн не мог коснуться вас; — но вот это-то меня и смущает. Но это все равно; это я даже сказал лишнее, — не следовало; — а я хотел только сказать: мне очень горько, что я огорчил вас, потому что чрезвычайно уважаю вас; но я боюсь вас.

— Почему же вы меня боитесь, когда я добрая? — ведь вы

же сами сказали, что я добрая, — и ведь высказали это не комплимент, — какие же между нами комплименты: я невеста вашего приятеля, который считает вас своим, — да это и по голосу заметно, — так как же вы меня боитесь, когда я добрая?

— Как вам это сказать? — Вот как скажу. Вы знаете балладу Гете «Коринфская невеста»?

— Нет, не знаю. Вы знаете, как у нас учат по-немецки, — да Гете уж и старый писатель. Борис говорит, что из него только несколько страниц можно прочесть, — согласны вы с этим?

— Почти что так; но...

— Даже первая часть «Фауста» устарела, — вы согласны?

— Там есть превосходные места, — удивительные; большая часть отдельных сцен превосходна; но общая точка зрения действительно устарела, смешна для нас с вами. Фауст, извольте видеть, «познал тщету наук» и ударился в пьянство. За это нынче школьника называют товарищи — болваном. А в конце XVIII века это еще действительно была высшая мудрость.

— Да, как это утешительно, потому что ведь это значит, как мы-то далеко ушли вперед. Но мы уклонились от предмета, — от «Коринфской невесты», которой вы хотите пояснить мне, отчего вы меня боитесь. Прочтите.

— Я помню лишь несколько стихов, но они самые важные для нашего разговора:

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss¹⁷, —

помните, что я к этому буду говорить все. Я могу увлечься другим, — баллада дивная. В начале нашей эры из Афин в Коринф приезжает молодой человек, — он с детства обручен с девушкой, о которой он уж давно не слышал ничего. Его встречает семейство этой девушки; ее нет в числе встречающих, — но ему ничего не говорят. Он один в своей комнате ужинает. Отворяется дверь, — входит его невеста; он говорит ей: «садимся вместе ужинать, — вот дары Вакха и Цереры» — он язычник, христианство еще мало распространено, — «и я обниму тебя» — ведь это по-язычески уже будет обряд брака, когда они разделят дары Вакха и Цереры, вино и хлеб. Она говорит: «я не могу вкушать их. Я обниму тебя, но мои объятия будут смертельны для тебя. Моя грудь бела как снег, но холодна как лед, в ней не бьется сердце. Мое семейство приняло новую веру; я не приняла ее; но моя мать обрекла меня на это».

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss.

Но молчит, не стучит ее белая грудь,
Не стучит, и как лед холодна.

Это ужасно. Я это вижу, — здесь человеческое жертвоприношение, которого не знала даже прежняя вера, которая была кровава.

Opfer fallen hier
Weder Lamm, noch Stier,
Aber Menschenopfer, unerhört¹⁸.

— Я не понимаю этого. Почему ж я мертвая и убью мужа. Почему вы думаете, что у меня грудь льдяная. Вы ни из чего не могли этого видеть. — Позвольте, я подумаю. — Лизавета Антоновна задумалась. — Решительно не могу понять, — повторила она через несколько секунд. — Позвольте, не мешайте, я подумаю.

— Хлоп. — Спрячь руку. Когда занимаемся делом, нечего шалить, Борис, — сколько я просила об этом, — опять послышалось из другой комнаты:

— Да ведь ты сама виновата, Наташа, что хорошенькая.

— Я довольно позволяла тебе шалить, — ну, через полчаса опять будем болтать, а просто ты лентяй, а не я хорошенькая.

— Mais, ma chère, depuis quand êtes-vous ici? * (превосходным французским языком).

— Je suis dans cette magazine depuis un an, madame, — (гадким французским прононсом и с грубейшими ошибками против языка, но бойко). — Si vous me permettez, je vous raconterai mon histoire. J'avais été une servante chez une m-lle Jeltoukhine, qui est aujourd'hui...

— Je la connais: madame — Илья Никитич Алферьев.....

— Et comment vous la connaissez, madame?

— Илья Никитич Алферьев est un fils de mon beau frère.

— Donc, je me tais, madame **.

— Это хорошо, Наташа. Да поняла ли, или это так случайно вышло. — Как же, поняла. Ты знаешь, что Катерина Александровна меня любит, и что я хотела похвалить ее, — а ведь ты ее родственник теперь, — значит, ты родственница ее; я этого не знала; а ты знаешь, что она женщина добрая, и что бывшая служанка не скажет о ней дурного, а это нехорошо, младшему хвалить старшего перед его родственником это лезть; ты меня и оставила; я догадалась, что ты родственница.

— Хорошо, вижу, что поняла... Etes-vous bien ici, ma chère?

— Oui, madame, je suis très heureuse ici, quoique, madame, la chère de la magazine est une femme bien méchante. Une servante domestique et une servante de commerce ou de la magazine — ce sont deux positions bien différentes ***.

* — Моя дорогая, с каких пор вы здесь?

** — Я в этом магазине уже год. Позвольте, я вам расскажу мою историю. Я была горничной у г-жи Желтухиной, которая теперь... — Я ее знаю. — Каким образом вы ее знаете? — Илья Никитич Алферьев сын моего шурина. — Тогда я умолкаю.

*** — Хорошо ли вам здесь, моя дорогая? — Да, я очень счастлива здесь, хотя хозяйка магазина женщина очень злая. Быть домашней служанкой и служанкой в торговле или в магазине — эти два положения очень различны.

— Почему я не остановил тебя, когда ты отозвалась дурно о своей хозяйке?

— Это было не для злословия.

— *Vraiment?*

— *Oui, madame, vous... **

Голоса, постепенно затихавшие, перестали быть слышны. Я слушал их, слегка улыбаясь.

— Мешают они, — сказал я.

— Нет, но мешаете вы, — отвечала моя странная собеседница.

«Вот как», подумал я и внутренне улыбнулся. — Вы страшно строгая, как же вас не бояться, — сказал я: — с вами слова нельзя сказать.

— Однакож вы действительно помешали мне. Мне это странно, отчего я показалась вам холодная.

Теперь я уж понимал, отчего.

— Если я помешал вам разрешить вашу ученую задачу, я могу загладить свою вину перед вами, — я дам вам готовое решение ее: вы страшная формалистка, вы Медуза педантства, — вот оттого-то ваш взгляд и обращает человека в камень.

— А я вам за это дам решение другой задачи: вы все это заключили из того, что Сапожников сказал вам про меня. Неужели он не шутил.

— Сапожников ни одного слова не говорил мне о вас, кроме того, что через две недели ваша свадьба. Да он и об этом упомянул случайно. Он спрашивал меня, сух ли дом, в котором мы живем, потому что он думает нанять в нем квартиру. Я спросил, по какому случаю. Вот он и сказал, что вы дали ему слово, — и замолчал-с, то есть он-с, Сапожников-то-с, — ни одного слова не прибавил-с, — сказал я с видом простодушной скорби.

— Ах, боже мой, вы в самом деле такой злой, как они все про вас говорили. Я этому не верила. Теперь вижу. Вы уж хотите ссорить меня с Сапожниковым. Я к нему холодна; он не хочет сказать обо мне доброго слова. Теперь уж я вас боюсь.

— Я, действительно, ужасен, — сказал я.

— Но вашу ужасность мы оставим в стороне, — сказала она: — а я теперь вижу, зачем вы приехали: вы приехали сделать мне выговор за то, что я холодна с Сапожниковым **...

* — Правда ли? — Да, сударыня, вы...

** Рукопись дальнейшего текста была послана 14 августа 1863 года в сенат в качестве «образца черновой литературной работы» и вшита в сенатское дело (продолжение рукописи см. в «Приложении»).